

Леопольд ЦЕСЮЛЕВИЧ

РЕРИХ НА АЛТАЕ

(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. К. РЕРИХА)

«Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы и успокоительны зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чье сердце убралось суповой мощи и красоты?»

Эти строки взяты из путевого дневника выдающегося русского художника Николая Константиновича Рериха, возглавлявшего экспедицию через горные, труднодоступные районы Центральной Азии.

Знаменитый художник горячо любил «самые синие, самые звонкие» Алтайские горы.

Особое отношение Рериха к Алтаю раскрывается в письмах В. Булгакову. «Глубоко порадовало нас Ваше сведение, что Вы — сибиряк и притом большой патриот своего отечества. Вы ездили по горам Алтайским, а Алтай является не только жемчужиной Сибири, но и жемчужиной Азии. Великое будущее предназначено этому замечательному средоточию. Долина между Уймоном и Катандою будет местом большого центра. В Париже, когда Вы посещали наш Центр, Вы, наверное, видели мой этюд «Белуха». Там было три этюда прекраснейших высот Азиатских: Канченджанга, Белуха и Эльбрус. И так, когда мы знаем, что Вы — алтаец, Вы нам еще и еще ближе».

Однако в статьях и исследованиях, посвященных Рериху, крайне скучно освещено его пребывание на Алтае.

В этой статье мы пытаемся воссоздать картину его путешествия отчасти по записям самого художника, отчасти по отзывам прессы и воспоминаниям людей, встречавшихся с Николаем Константиновичем.

В качестве базы для своей экспедиции на Алтай Рерих выбрал село Верхний Уймон. Оно расположено у самого подножия скалистого Катунского хребта и заботливо укрыто окружающими его двумя кряжами. А скала, возвышавшаяся между ними, оберегает село со стороны Катуни, которая, огибая горный хребет, спешит на восток по широкой горной долине.

В Верхнем Уймоне были богатые традиции русского народного искусства. Были украшенные замысловатой резьбой и типичной русской травчатой росписью избы. Сельчане носили богато вышитые орнаментом народные костюмы. В кре-

стьянской среде бытовали легенды, песни, частушки.

Это обстоятельство вместе с соседством древних курганов и близостью Белухи, которая венчает собой Катунский хребет, делало Верхний Уймон особо интересным для научно-художественной экспедиции Рериха.

Среди старшего поколения жителей села можно найти людей, встречавшихся с Рерихом. Их рассказы обычно выразительны и живы, чему способствовала, безусловно, яркость впечатлений от личности самого путешественника.

Еще находясь далеко от Алтая, пройдя с экспедицией до Урумчи, Николай Константинович заносит в дневник: «И странно и чудно — везде по всему краю хвалят Алтай. И горы-то прекрасны, и кедры-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны».

29 мая 1926 года экспедиция Рериха вошла на территорию Советского Союза в непосредственной близости от Алтая.

«Рерих пришел из Индии на караванах через Тянь-Шань. Уже два года путешествовал. У озера Зайсанступил на нашу землю. До Омска привез документы получать. Потом в Москву ездил. Из Москвы сюда приехал...»

Так рассказывает Серапион Атаманов, 75-летний старожил села Тихоньского, стоящего рядом с Верхним Уймоном.

Маршрут экспедиции в этом рассказе обозначен правильно. Из Москвы на Алтай Рерих и его спутники выехали 22 июня. С Николаем Константиновичем были его жена Елена Ивановна, сын Юрий, журналист Морис Михайлович Лихтман с супругой Зинаидой Григорьевной Фосдик, ассистент Юрия Николаевича учений тибетец Геген, рабочий экспедиций ладакец Рамзана.

26 июня экспедиция прибыла в Новосибирск. А 27 июня отправилась пароходом вверх по Оби в Бийск. В своем дневнике Николай Константинович записал:

«Во все небо стояла радуга. И не одна, но две. И в радужные ворота устремилась широкая Обь».

Стояла жаркая, знойная погода, и путешественники, особенно Елена Ивановна, страдали от жары. Сутки они пробыли в Барнауле, ожидая парохода. В Бийск приехали 30 июня. Здесь на-



Экспедиция Н. Периха на Алтае.

няли возниц, лошадей, погрузили багаж на четыре брички. На следующий день отправились вглубь Алтая. Николай Константинович, Юрий и Лихтман ехали верхом. Дорога шла через села Красный Яр, Алтайское, Баранчи, Таурак, Марининское, Черный Айуй, Муту, Усть-Кап, Абай, Юстик, Усть-Коксу.

За селом Марининским, после перерыва, Рерих записал в дневнике: «А когда перешли Эдигол, расстилалась перед нами ширь Алтая. Зацвела всеми красками зеленых и синих переливов. Забелела дальними снегами. Стояла трава и цветы в рост всадника. И даже коней здесь не найдешь. Такого травяного убора нигде не видали».

Путь был нелегкий. Постоянно шли дожди, дороги были плохими. К тому же главный возница не знал дороги. Неважными оказались и лошади. С ночлегами тоже было трудно. В Муте и Усть-Коксе ночевали на столах. В Баранче нашли приют у заведующего кооперативом Бочкарева, в Усть-Кане — у пожилой учительницы, которая много рассказывала гостям о том, как она в молодости вместе с единомышленниками «пошла в народ», в деревню, с идеей нести людям просвещение. В Абае путешественники остановились у мараловода Романова, который достал для них нового проводника, свежих лошадей, 5 бричек.

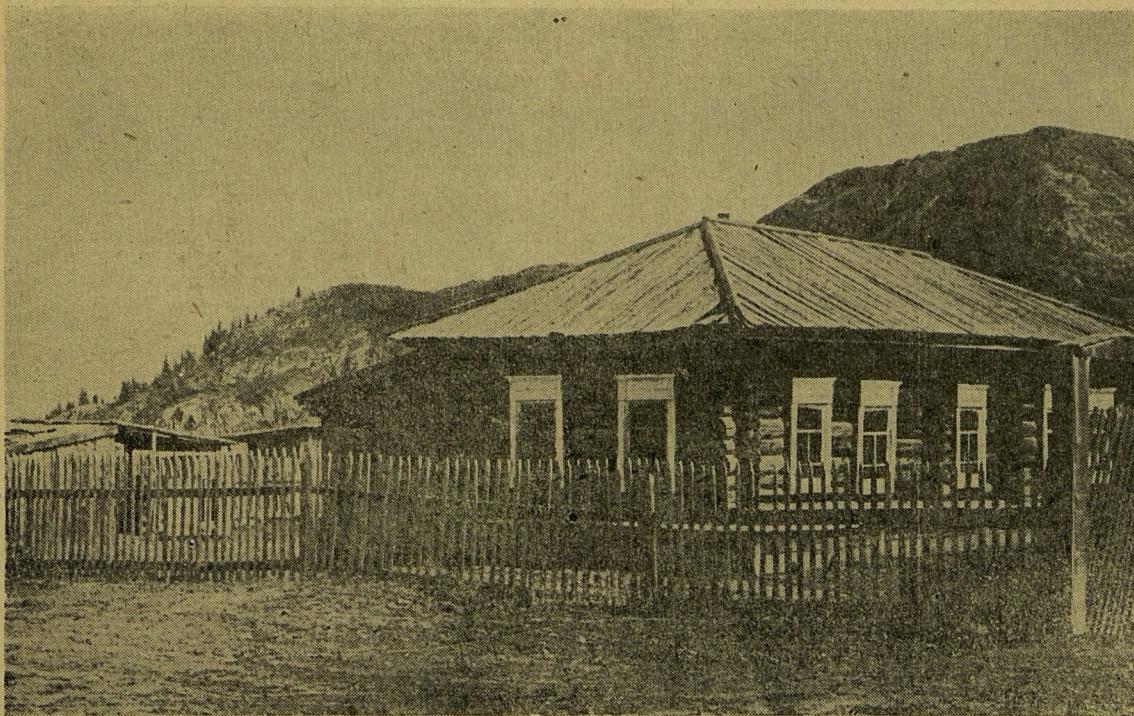
В Усть-Коксе Рерих впервые мог увидеть главную реку Горного Алтая — Катунь. Он записал: «Катит камни — катунь настоящая. Катунь — по-турски — женщина».

На седьмой день после выезда из Бийска, переправившись на пароме через Катунь, экспе-

диция прибыла в Верхний Уймон. Здесь остановились у Вахрамея Семеновича Атаманова.

О нем стоит сказать подробнее. Очень возможно, что имя Вахрамея Атаманова было известно Рериху, долгие годы состоявшему членом Русского Географического общества. Вахрамей Семенович был известным проводником. Стал им еще в 1905 году. Сопровождал в горы многих людей. Водил исследователя Алтая и Белухи профессора Томского университета В. В. Сапожникова. В 1909 году показывал Алтайские горы художнику Арбунову, который здесь писал горные пасеки, сцены труда крестьян. Часто Вахрамей Атаманов сопровождал к Белухе алтайского художника Гуркина. Бывал проводником также в гостях у художника в его доме-мастерской в Аносе. Вахрамей Семенович славился как врач-самоучка. По медицинским книгам и журналам, которые он выписывал, Атаманов достиг достаточных знаний, чтобы вылечивать не только простые, но и сложные заболевания. Делал и операции. Особенно хорошо знал целебные травы, корни, цветы. Любопытно, что в 1928 году к нему приезжали московские ботаники для уточнения названий и лечебных свойств алтайских растений.

Интересную характеристику Атаманову дал Рерих: «...Он знает руды, знает и маралов, знает и пчелок, а главное и заветное — знает он травки и цветки. Это уж неоспоримо. И не только он знает, как и где растут цветки и где затаились коренья, но он любит их и любуется ими. И, до самой седой бороды набрав целый ворох многоцветных трав, он просветляется лицом и гладит их и ласково приговаривает о их полезности. Это



Дом, где жил Н. Рерих.

уж Пантелей Целитель — не темное ведовство, а опытное знание».

Между Рерихом и Вахрамеем Семеновичем образовались близкие и сердечные отношения. Когда художник работал в своей комнате, Вахрамей единственный мог без приглашения заходить к нему. Рериху, безусловно, он был близок знанием горной природы и тем, что он являлся живым прототипом образа Пантелейя Целителя, которого Николай Константинович написал уже в 1926 г. После, в Гималаях, Рерих не забывал своего алтайского друга и снова возвращался к теме народного целителя. Вариант этой темы находится теперь в Новосибирской картинной галерее.

Из Индии Николай Константинович прислал в Верхний Уймон журнал, где была фотография Вахрамея с Рерихом на фоне Алтайских гор. Они переписывались. Вахрамей посыпал художнику в Индию целебные травы, растения.

Дом Атамановых был двухэтажным. Наверху две комнаты, коридор, сени, балкон, выходящий на сторону двора. Теперь этот дом одноэтажный, совхоз его перестроил. Перебрали балки, нижний этаж снесли, но верхний этаж и кровля остались прежними.

Рерих заняли второй этаж дома. В избе, стоящей в ограде, поселился Рамзана. Но этот ладакец, привыкший жить на больших высотах, плохо переносил климат низин и поэтому болел. «Целыми днями дома сидел. Накинет накидку и качается», — вспоминают о нем в селе. Он вскоре ушел с Алтая в Ладак. Это отмечает в дневнике Николай Константинович:

«Рамзана ушел в Ладак. Не вынес северных низин. «Или уйду, или умру». Конечно, вся жизнь ладакцев проходит на высотах не ниже двенадцати тысяч футов. Жаль Рамзану».

Дочь Вахрамея Семеновича Агафья Зубакина вспоминает о Рерихах как о самых близких людях: «Шибко хорошие люди были. Молодолицые, разговорчивые. Сама была вся беленькая, светлая. И волосы светлые и глаза. Шибко красивая была. Длинный сарафан у нее был, долгая одежда. Широкое, очень длинное носила. Вся одежда здешняя. Окошки открывать любила. Возле окна обычно сидела, писала. Все на свете рассказывала. По младшему сыну скучала, плакала. Три года его не видела. Учился все где-то. Сам тоже весь светлый был. С седой бородой, в сером костюме, хоть и жарко на дворе, в тюбетейке. А поверх тюбетейки на улице еще шляпу одевал. А глаза светлые, пристальные. Когда посмотрит, как будто насквозь видит. Много книг у него было. Сам все книги показывал, всяко разрисованные».

А Юра простой, простой был. Двадцать три года ему было. Молод был, а бороду не брил. Здесь рубашку купил коленкоровую зеленую. На выпуск ее носил. Все в ней бегал. Мне та рубашка совсем не нравилась, как у всех мужиков. А она ему почему-то мила была. До дому хотел довезти. Осторожно велел стирать, чтобы не полиняла, не порвалась.

...В шесть часов утра вставали. Шибко много работали. А пройдут вечером, переоденутся и опять за работу. Три минуты им дороги. Керосин не жгли. При свечах вечером жили.

Старик больше у себя сидел, а Юра бегал или

в горы выезжал. А иногда вместе ездили. И туда ездили, и туда. Во все стороны ездили. Мой бабушка их водила. И сама в горы ездила. Ей коня смиренного нашли. Здесь ездить учились. Говорила: «Теперь уже смелее езжу».

С Олей, дочкой моего брата Прокопия, сама играть любила. На колени ее брала. Просила отдать ей ее в дети...»

Оля, которую хотела удочерить Елена Ивановна, теперь Ольга Прокопьевна Атаманова, живет в Бийске. Несмотря на то, что в бытность Рерихов в их доме ей было всего около четырех лет, она их хорошо помнит. Помнит, как художник носил ее на руках, как катал на лошади по двору, как ходил с ней и ее сестрой Таней на речку, как Елена Ивановна по утрам ей косички заплетала и как сшила для нее красивое платье.

Рерих побывал на многих окружающих горах. Художник с проводником, Вахрамеем Семеновичем, на лошадях поднимался на белки Студеный, Погорелка, Большой Батун, Малый Батун. Взирались на Теректинский хребет, чтобы оттуда писать вершину Белухи. Ездили к подножию Белухи вдоль реки Кучерлы. Был Рерих и на южных склонах Катунского хребта, откуда вид на Белуху открывается наиболее полно. Об этой поездке свидетельствует известная его картина «Белуха», которая теперь находится в Париже, в Лувре. На этой картине, написанной в звучных, светлых тональных отношениях, отчетливо видны обе вершины Белухи, на переднем плане рисуется ледник Геблера, а за ним виднеется заснеженный Раздельный гребень, пересекающий ледники Катунский и Берельский.

О Белухе есть несколько записей в дневнике: «Семнадцатого августа увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Звенигород».

«Со Студеного хребта лучше всего видно саму Белуху, о которой шепчут даже пустыни».

В Верхнем Уймоне Рерих писал этюд девушки в ярком цветастом сарафане. Позировала ему черноглазая красавица Варвара Бочкирева. Художник говорил: «Будет эта девушка в музее».

В горы Рерихи ездили также за целебными травами, маральим корнем. Делались поездки по Усть-Коксинской долине.

Об этой долине «между Уймоном и Катандою», очень ему понравившейся, Николай Константинович впоследствии не раз писал своим друзьям. И своим проводникам он говорил, что это один из красивейших уголков страны, обладающий живописной природой, богатыми недрами, прочной почвой, на которой можно строить высокие дома. Здесь, по его мнению, может быть построен прекрасный город и подходящим названием его было бы — Звенигород.

Из Катанды Рерихи проезжали по тракту дальше до Тюнгуря и Ак-Кема. Художник записал: «В области Ак-Кема следы радиоактивности. Вода в Ак-Кеме молочно-белая. Чистое Беловодье. Через Ак-Кем проходит пятидесятая широта».

Старожилы Верхнего Уймона вспоминают, что Николай Константинович просил показать ему памятники героев гражданской войны. Ему показали место расстрела 11 партизан на Большом белке. Никакого памятника там не оказалось. Художник взял гладкую каменную плиту, сделал на ней надпись и положил на могилу.

Был художник у деревянного памятника, стоявшего тогда на месте героической гибели Петра Сухова.

«Все носит следы гражданской войны, — пишет в Тюнгуре Николай Константинович. — Здесь, на Чуйском тракте, засадою был уничтожен красный полк. На вершине лежат красные комиссары. Много могил по путям, и около них растет новая, густая трава».

На Алтае Рерихи собирали коллекцию образцов народного костюма. Любовь Николая Рериха к народному искусству общеизвестна. В связи с этим Агафья Зубакина вспоминает:

«Узорчатые пояса, опояски здесь покупали. Шибко им нравились. Меня упросили одеться в бухтарминскую одежду. Сарафан цветастый и поглавицкая шаль. Юра меня со всех сторон снимал. Вместе с батюшкой отовсюду фотографировали. Юра говорил: «Будешь у нас по стенке бегать». Здесь все дома снимали, горы, лес. Кругом все фотографировали».

Юрием Николаевичем был заснят фильм об Алтайских горах, о жизни в селе, о медицинских опытах Вахрамея Атаманова.

Художник не мог не отметить в Верхнем Уймоне прекрасных достижений народного умельца Агафьи Семеновны Атамановой, прозванной «бабушкой Агаешевой». Еще теперь в селах Усть-Коксинского района сохранились дома, где во в русском народном стиле расписаны стены, окна, двери, домашняя посуда, мебель. Некоторые ее росписи воспроизведены теперь в альбоме «Очерки по народному искусству Алтая». В музее изобразительных и прикладных искусств в Барнауле среди экспонатов русского крестьянского искусства 19-го — начала 20-го века достойное место занимают стенная роспись и вышивки этой сельской художницы.

«А вот и Вахрамеева сестра, — пишет об Агафье Семеновне Рерих. — И лекарь, и травчатель живописец, и письменная искусница. Тоже знает травы и цветки. Распишет охрой, баканом и суроком любые наличники. На дверях и на скрынях наведет всякие травяные узоры. Посадит птичек цветастых и желтого грозного леву-хранителя. И не обойдется без нее ни одно важное письмо на деревне. «А кому пишешь-то, сыну? Дай-ко скажу, как писать». И течет длинное жалостливое и сердечное стихотворное послание. Такая искусница!»

В Верхнем Уймоне произошла встреча Рериха с другой интересной художницей — Натальей Николаевной Нагорской. По заданию Новосибирского краеведческого музея она собирала и изучала народное искусство Усть-Коксинского района, запечатлевая в акварелях росписи наличников и узорчатую деревянную резьбу. Ее рисунки хранятся в Новосибирской картинной галерее.

О своей встрече с Рерихом Наталья Николаевна рассказывает так: «На Алтае я жила в доме Железнова в Нижнем Уймоне. Узнала, что в Верхнем Уймоне стоит экспедиция, прибывшая из Индии. Мне было интересно посмотреть на них. Одолжив коня, я поехала. Я была платком повязана, в сарафане, на плече сумка, как все сельчанки».

Во дворе, возле столба, привязала лошадь. Поднимаясь на второй этаж. В сенях деревянный резной диван. Стучусь в дверь.

«Кто там?» — слышится голос.
«Здесь какие-то «иностранные»?
Выходит человек с седой бородой в верблюжьем свитере.

«Не иностранцы, а путешественники. Я Рерих». Я сложила руки на груди, повернула голову:

«Перих! Боже мой! Я люблю ваши картины — «Строят город», «Заморские гости», «За морями земли великие». Они научили меня любить Родину, народ, историю...»

«Вы вернулись на Родину?»

«Я никогда не покидал Родины, я путешествую.»

Говорили недолго. Перих был болен в этот день. Вышли две женщины. Я показала им рисунки со своего альбома.

Кроме художественных целей, на Алтае экспедиция Периха ставила и научно-исследовательские. Одной из них был сбор геологического материала. Это входило в обязанности Мориса Лихтмана. Об этом хорошо помнит Серапион Семенович Атаманов: «При мне Морис Михайлович камни опровергал, разные, всякие. Женщины в селе шили им мешочки для породы».

Рассказывает и Агафья Зубакина: «Крестьяне им камни приносили. Они возьмут, осмотрят, определят — свинец, каменный уголь, золото, железо, запишут, с которого места взято, заплатят человеку, который принес их, а камни в окно выкидывают. Потом три дня по этим местам ездили, проверяли, камни собирали».

Для Периха как археолога, известного своими раскопками древних русских городов в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, вероятно большой интерес представляли многочисленные курганы, разбросанные по всей территории Алтая. Но так как пребывание его в Верхнем Уймоне было непродолжительным, то он ограничился лишь сбором легенд, сложенных народом и связанных с древними племенами, жившими на Алтае и оставившими эти так называемые «скифские» или «чудские» могилы. Эти легенды нашли место в его книгах, на их основе он создал ряд картин.

Художник записал известную легенду о самозакопавшейся чуди: «Старик ведет нас на каменный холм и, показывая каменные круги древних погребений, торжественно говорит: «Вот здесь ушла Чудь под землю. Когда белый царь пришел Алтай завоевывать и как зацвела белая береза в нашем kraю, так и не захотела Чудь остаться под белым царем. Ушла Чудь под землю и завалила проходы камнями. Сами можете видеть их бывшие ходы».

Эта легенда послужила сюжетом для картины «Подземный народ», написанной после посещения Алтая в 1927 году. Но сказанию о «самопогребенном» племени Перих придает смысл переселения народов. На его полотне горная пещера. Через ее обледенелые сталактитовые своды просматривается высокогорный заснеженный пейзаж. В глубокие подземелья уходят люди в древних островерхих шапках, с котомками на плечах.

Вот еще записи легенды: «В пределах Алтая можно также слышать очень значительные легенды, связанные с какими-то неясными воспоминаниями о давно прошедших здесь племенах. Среди этих непонятных племен упоминается одно под именем Курумчинские кузнецы. Само название показывает, что это племя было искусно в обработке металла, но откуда и куда направлялось оно? Имеет ли в виду народная память авторов металлических поделок, которыми известны древности Минусинска и Урала? Когда вы слышите об этих кузнецах, вы невольно вспоминаете о ска-

зочных Нibelungах, занесенных далеко на запад.

Много лет спустя, в 1944 году, во время Великой Отечественной войны Перих пишет картину «Нibelungi». Небольшой холст изображает кузнецов, кующих меч в каменном гроте при свете костра. Первобытные условия обстановки и одежда указывают на отдаленную историческую эпоху. Фон полотна дает признаки горной местности. Черты лица характерны для жителей Алтая. Произведение, видимо, создано по алтайским впечатлениям.

В основу картины «Ойрот. Алтай» тоже легла легенда, услышанная художником на Алтае. Здесь видим горный пейзаж, характерный для окрестностей Усть-Кана. Он написан в мягкой фиолетовой гамме. Светом золотистой луны освещены заснеженные вершины гор и фигура всадника на белом коне — Ойрота. В центре картины изображена девушка, закрывшая лицо руками при виде необычного всадника.

На Алтае и посейчас можно услышать многое, запечатленное в дневнике художника. В нем нашли место и лингвистические наблюдения. Отмечено употребление слов «мизгир», «сивер». Словом «сивер» до сих пор называют на Алтае северные лесистые склоны гор. А паука здесь называют «мизгир».

В воспоминаниях о Перихе часто отмечается его забота о просвещении. Он интересовался, сколько в районе школ, сколько детей учится. К знанию, к учебе он побуждал многих.

Из верхнего Уймона Перихи уехали 19 августа. Вахрамей Атаманов сопровождал их до Бийска.

Обратный путь был преодолен за четыре дня. Он шел через села Усть-Коксу, Усть-Кан, Черный Айуй, Туманово, Матвеевку, Карпово, Солоновку.

24 августа Перихи прибыли в Бийск, а 26 отправились на пароходе «Жорес» в Новосибирск. В столицу Сибири путешественники приехали 27 августа. Здесь семья Перихов пробыла неделю. В Новосибирск для встречи с художником приехал из Москвы его брат, архитектор, Борис Константинович. 3 сентября Перихи отправились поездом в Бурятскую АССР, а оттуда дальше, по намеченному маршруту, в Монголию.

Отмечая пребывание художника в Новосибирске, журнал «Сибирские огни» во втором номере за 1927 год поместил статью писателя Г. Гребенщикова «Николай Перих» и репродукции трех картин.

В редакционном примечании к статье писалось:

«Известный русский художник Николай Перих летом 1926 года, побывав на Алтае, проехал через Новосибирск и Верхнеудинск в Улан-Батор-Хото, где в настоящее время знакомится с искусством этой своеобразной страны».

Перих мечтал побывать на Алтае еще раз. Но эта мечта не осуществилась.

Выполняя завещание художника, его сын, Юрий Николаевич, передал городу Новосибирску большую коллекцию картин отца. Шестьдесят произведений Николая Константиновича являются гордостью Новосибирской картинной галереи.

А его алтайские этюды и картины разошлись по разным музеям мира, везде утверждая слова художника, которые он любил повторять: «Сибирь — страна великого будущего, а Алтай — живое воплощение ее красоты».

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Галина ПРОХОРОВА

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

(ЗАМЕТКИ О КНИГЕ М. О. ПАНТЮХОВА
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ»*)

Документальная проза получает все более широкое распространение в нашей литературе. В ткань художественных произведений все чаще вводятся документы, эти самые объективные свидетели событий. Достаточно вспомнить романы А. Чаковского, И. Стадника, Ю. Семенова. Документальные очерки, новеллы и повести, дневники, путевые заметки и мемуары приобрели в последние десятилетия всеобщую известность.

Перед мной книга в скромном ледериновом переплете. Откроем первую страницу, с небольшой фотографии взглянет молодой матрос. Открытое русское лицо, умный сосредоточенный взгляд. Это Михаил Осипович Пантиухов — автор книги «Красная линия». Это был удивительный человек. Его жизнь — целый исторический роман. Михаил Осипович с полным правом мог сказать о себе словами поэта: «Это было с бойцами или страной, или в сердце было моем».

Где только не побывал за свою жизнь М. О. Пантиухов — Дальний Восток, Кавказ, Петроград, Воронеж... Последние двадцать лет жил на Алтае. Многое в нашем крае так или иначе связано с его именем.

Кто сейчас не знает об академике М. А. Лисавенко. Но мало кому известно, что Лисавенко приехал на Алтай при содействии М. О. Пантиухова. В 30-х годах Михаил

* М. О. Пантиухов. «Красная линия». Алтайское книжное изд-во. 1974.

Осипович работал в Москве корреспондентом «Крестьянской газеты». В одной из командировок, в Ачинске, познакомился с М. А. Лисавенко, который занимался садоводством. Его заинтересовал молодой человек, страстно увлечен своим делом, и Михаил Осипович помог Лисавенко побывать на совещании мичуринцев в Москве, познакомиться с И. В. Мичуриным, а потом... Потом Лисавенко по совету Мичурина уехал на Алтай, где получил возможность заняться вплотную любимым делом.

Михаилу Осиповичу принаследует идея шефства алтайского комсомола над одним из кораблей Краснознаменного Балтийского флота. Теперь наших комсомольцев и моряков крейсера «Свердлов» соединяет прочная дружба.

Но обратимся к самой книге «Красная линия». Это многоплановое произведение, создающее впечатляющий образ эпохи, образ времени, прекрасного и трудного.

Воспоминания охватывают период с детских лет, проведенных в чудесном городе — Царском Селе. Кем только не довелось быть Михаилу Осиповичу — фельдшер, агитатор, политработник, командир отряда революционных матросов, прокурор, журналист...

Первые страницы книги переносят нас в удивительный и неповторимый мир детства. Царское Село начала века. Воспоминания детства согреты теплым чувством любви к тому далекому, безвозвратно ушедшему и милому времени, когда все казалось новым и необычным. Яркими, сочными мазками рисует автор веселые зимние праздники, искрящиеся ребячьими улыбками, елочными огоньками. Эта первая часть книги расцвечена запоминающимися юмористическими сценками.

Перед глазами читателя встает озорной мальчишка — очень непоседливый, очень привлекательный, душевный и пытливый.

Революция! Тревожное и прекрасное время, время, не допускающее ни малейших компромиссов, время, поразительное по своей неповторимости, ясности и одновременно сложности.

Мишу Пантиухова влечет в самую гущу бурных событий, а знакомство с революционно настроенным матросами помогает ему разобраться в сложной обстановке тех лет. В книге очень тонко показано, как постепенно под влиянием матросов-большевиков идет нелегкий процесс формирования характера, формирования верного, подлинно большевистского взгляда на происходящие события.

Октябрь 17-го года. Штурм Зимнего. «В ночь на 26 октября, во время штурма Зимнего дворца, я находился в карауле под Главной аркой Адмиралтейства», — пишет Михаил Осипович.

Стремительно развиваются события, и читатель чувствует, что автор не просто пересказывает «дела давно минувших дней»; а вновь и вновь переживает их, отдавая им часть души. Нет, несвойственна была автору этой книги мечтательная созерцательность, роль стороннего наблюдателя. М. О. Пантиухов был борцом по самой своей сути: жизнь бросала его из одного боя в другой — защищал завоевания революции, защищал достоинство и честь человека, воевал против несправедливости, душевной черствости, эгоизма.

М. О. Пантиухов был одним из тех счастливых людей, кому довелось видеть и слышать Ильича, разговаривать с великим вождем. Пантиухов видел Владимира Ильича три раза. Автор не описывает внешность Ленина, но показывает Ильича в действии, в разговоре. В воспоминаниях запечатлены дорогое черты Ильича — простота

в обращении, сердечность, внимание к собеседнику.

«Владимир Ильич протянул мне руку, которую я горячо пожал... я стоял как зачарованный, и в ушах звучали такие простые, такие большие ленинские слова: «Если речь идет о жизни товарища... я готов...»

М. О. Пантиухов встречался также с Р. С. Землячкой, главковерхом Антоновым-Овсеенко, командармом Петровым, всесоюзным старостой М. И. Калининским.

Для книги «Красная линия» характерна большая искренность, доверительность интонации. М. О. Пантиухов умел приближать далекое, навсегда ушедшее от нас время.

И вот перевернута последняя страница. Но герои этой книги остаются навсегда с нами. Они не выдуманы автором, они жили, боролись, любили. Они — это наша славная история, история, которую они творили своими руками.

Говорят, что перо пишет плохо, если в чернильницу не добавить несколько капель собственной крови. Мудрость этого изречения становится особенно заметной, когда читаешь такие книги как «Красная линия». Это на редкость цельная вещь, обладающая своим оригинальным обликом. Радость бытия, смерть и ужасы войны, сложные изивы людской души, кипение противоборств — все это выпи-

сано автором поразительно четко и верно. Очевидно, поэтому после прочтения книги М. О. Пантиухова остается впечатление, что побеседовал с мудрым и интересным человеком — верным солдатом революции, одним из тех, с кого можно «делать жизнь».

Книга его создана с определенным прицелом. Рассказывая о своей жизни, о молодости своего поколения, М. О. Пантиуховставил перед собой задачу: «...что-то основное, главное, являющееся содержанием внутреннего мира молодежи тех лет, нужно прививать современной молодежи, нужно пронести как драгоценный со- суд на руках десятков поколений молодежи в коммунизм».

Н. ЯНОВСКИЙ

АРСЕНИЙ ЖИЛЯКОВ

Произведения Арсения Жилякова начиная с 1906 года нередко появляются в периодической печати Сибири. Единственная книга, изданная при жизни автора — «В тихих лесах» (Барнаул, 1918), содержит всего лишь четыре коротких рассказа и не может дать сколько-нибудь ясного представления о писателе. Обследование газет, случайно сохранившиеся рукописи в архиве А. С. Новикова-Прибоя позволяют теперь, спустя более чем полстолетия, впервые объединить произведения А. Жилякова в нечто цельное и взглянуть на весь его сравнительно небольшой творческий путь*.

Арсений Иванович Жиляков родился 13 февраля (ст. ст.) 1879 года в бедной крестьянской семье села Могильного Курганского уезда Тобольской губернии. Рано оставшись без матери, он воспитывался под присмотром мачехи, не-взлюбившей пасынка. Окончив сельскую приходскую школу, он в тринадцать лет поступает писцом в полицию, затем переводится в канцелярию мирового судьи (в Кургане, в Тюмени). Революцию 1905 года встретил восторженно, и настолько, что в 1906 году был выслан в родное село. Именно с этого времени началось у него, по собственным словам, «пробуждение и обновление», появилась тяга к осмыслиению увиденного и пережитого. Отсюда, из родной деревни, и начались его выступления в печати — корреспонденции в газетах «Омич», «Омский телеграф». В 1908—1909 годах А. Жиляков активно сотрудничает в газете «Омское слово», радикуируемой молодым тогда писателем Г. Д. Гребенщиковым. За короткий срок — газета просуществовала всего полгода — он опубликовал более десяти зарисовок, эскизов, рассказов и нередко подписывал газету в качестве редактора.

Газета, руководимая писателем, и оказалась по преимуществу литературной. Кроме А. Жилякова, в ней часто выступали Иван Тачаев, Георгий Вяткин, социал-демократ Илья Модзалевский, А. Сорокин, К. Дубровский и, конечно, сам Г. Гребенщиков, который буквально заполнил всю газету своими рассказами, стихами, очерками,

* Автор выражает благодарность вдове писателя А. С. Новикова-Прибоя — М. Л. Новиковой и Литературному музею при школе № 27 в Барнауле, сохранившим архив А. И. Жилякова и предоставившим мне возможность ознакомиться с ним.

театральными и литературными рецензиями, поэтическими статьями, отчетами о путешествиях и т. п. материалами. Газета еще не успела более или менее отчетливо определить истинное лицо, как была оштрафована и закрыта. Видимо, за один оппозиционный дух, который витал тогда над частными изданиями такого типа.

Первые известные нам выступления А. Жилякова с художественными зарисовками и эскизами не могут быть признаны вполне удачными. Но тематика их примечательна. Зарисовка с натуры «Утром» (1909) — о бедствиях крестьян-переселенцев. В Сибири они не находят того, что искали, потому им свойственны угрюмость, недоверие, настороженность. И «при невольном жесте,— замечает зоркий наблюдатель, — из-под полы сверкает лезвие топора». Это уже нечто новое, не свойственное переселенцам до революции. В эскизе «Мирах» (1909) рассказано о судьбе молоденькой учительницы, мечтавшей посвятить себя деревне, совершив там подвиг самоотвержения. Но через год после переезда в деревню она обнаруживает в себе непреодолимую тоску по городу, и «мысль о неизбежности в будущем такого же, как вчера, серого существования в захолустном селе» приводит ее в ужас. В ее грезах теперь мелькает город с его соблазнами и пугает зловещее предчувствие, что отныне и навсегда ей «придется довольствоваться только миражами». В записках однокого «В объятиях» (1909) рисуется беспросветная жизнь городских окраин: измученного рабочего с женой-прачкой, девочки, роющейся на помойке, стариков, занимающихся нищенством... Молодой писатель вглядывается в разные лица дремотно текущей вокруг жизни и ничего отрадного не видит. Таким состоянием души и объясняется, по всей вероятности, тяготение к символическим картинкам, где туманные многозначительность сочетается с безысходностью (*«Минута»*, *«Старая кадильница»* и др.).

Жизненный путь А. Жилякова сложился трудно: тяжелое детство и ранний непосильный труд, женитьба, оказавшаяся неудачной, ссылка и постоянная угроза остаться без средств. Ко всему этому или вследствие этого присоединилась в острой форме болезнь алкоголизма, она и метала его из города в город. Он работал редактором газеты «Степь» в Троицке, сотрудничал в газетах «Приуралье» (Челябинск), «Пермский край», «Юг Тобола» (Курган), «Курганский вест-

ник», «Сибирская жизнь» (Томск), «Алтайское село» (Новониколаевск), «Алтай» (Бийск) и др. С 1912 года выступает в газете Барнаул «Жизнь Алтая», с 1915 года переезжает в город на постоянное жительство и здесь 17/VIII 1921 года погибает (разбился, упав случайно с третьего этажа).

А. Жиляков принадлежал к писателям-самоучкам, как, например, И. Тачалов. Им во много крат труднее приходилось пробиваться к высотам художественного мастерства, к широкому пониманию событий своего времени. Поражение революции 1905 года они переживали с особенной остротой и с большими для себя потерями. Критический пафос, направленный против царизма, все чаще и чаще отягощался нотами уныния и тоски, мотивами, безнадежности в достижении светлых целей в ближайшем будущем. Послереволюционный массовый террор, отчетливо видимый в ссыльно-каторжной Сибири, разразившаяся война, лишенная осмыслиленной цели, полное банкротство правящей самодержавно-бюрократической верхушки с Распутиным в заглавной роли вызывали приступы мрачнейших настроений. Случались и счастливые минуты прозрений, но господствующая тональность творчества — незащищенность положительного героя, трагизм его положения в обществе. За предреволюционные годы (1910—1917) А. Жиляков написал не больше двадцати—двадцати пяти рассказов и зарисовок. Художественное качество их заметно возросло, а содержание в значительной степени определяется названием большого цикла произведений, над которыми он настойчиво работал, — «Во мгле». Еще П. Казанский, лично знавший А. Жилякова, говорил о произведениях писателя, что «над их героями — мелкими людьми города и деревни, большею частью пришлыми, одинокими и всем чужими, обычно висит какой-то гнет, давит их, не дает выпрямиться, развернуться, а часто и губит». («Сибирские огни», 1922, № 2, стр. 162). Правда, объяснял он эту особенность лишь «гнетом алкоголизма» автора, тем не менее что-то основное в характере предреволюционной прозы Жилякова охвачено верно. Герои его рассказов — крестьяне, служилая интеллигенция, ссыльные и поселенцы разных категорий — нередко преbyвают в состоянии забитости и невежества, разочарований и осознания ненужности, бесперспективности дальнейшего существования или, в лучшем случае, сознательного отхода от общественных дел и забот. Если же среди них и появляются люди необычные, прекрасные, то обязательно это одиночки и участь их — страдать от дикости суеверий среды, непонимания их благородных целей, от тупости властей.

А. Жиляков, прежде чем рассказать о людях и событиях, взволновавших его, погружает читателя в атмосферу старой сибирской деревни, ее природы, ее обычая. Почти каждый рассказ начинается с поэтической прелюдии, по которой потом он, как по камертону, выверяет в нем все: характер повествования, настроения, мысли...

«Серенький, хмурый осенний день. Мелкий дождь с утра неотвязно стучит по старым стеклам окна и шуршит где-то на крыше» («Во мгле»).

«В этот смеющийся теплый солнечный день на Кукарцево надвигалось что-то чуждо, быть может, — враждебное» («В тихих полях»).

«Село так и называлось — Камышное. К северу на восток камыши тянулись бесконечным займищем, и еще деды и прадеды камышенцев считали, что там, где море серых верхушек ка-

5

мыша сливается с неясной, такой же серой, мглистой линией неба, — край земли, конец света...» («Крик в камышах»).

Нетрудно догадаться по этим кратким «зачинам», в каком ключе будет исполнен каждый рассказ. А если мы прочтем начальную сцену всю, то легко убедимся, что автор в передаче чувств и настроений пластичен, мягок, точен. Сцена наполнена звуками и красками, и в каждом слове-образе бывает отзывчивое, добroe и страдающее сердце рассказчика.

«Уже серело небо, готовясь затянуться сплошными мутными облаками поздней осени.

Бледно-зеленые и багряные листья осинок трепетали на полуоголенных ветвях и, поминутно отрываясь, бесшумно устилали землю пестрым ковром. Холодные, безучастные лучи заходящего солнца пронизывали реденькую группу этих грустных деревьев, и длинные тени их перегибались через пригорок с сухой жесткой травой, пересекали пыльную дорогу и терялись в синеватой дали степи.

Чтко отражался в застывшем прозрачном воздухе и слабый отдаленный шорох, и каждый едва уловимый звук.

Где-то за большим, передевшим и печальным теперь лесом гулко громыхала телега и крикливо дребежала тонкими, сорвавшимися с гвоздей досками. Унылая, протяжная песня беспрерывно, нескончаемо неслась по оголенному лесу и то затихала, замирая вдали, то высоко взмывала, как волна, приливалась к опушке и, звеня, сновала здесь среди редких деревьев.

Опустевшие поля, со смятым, втоптанным стадами, жниньем, грустно, осиротело серели одноблизкими, выцветшими полосами, и на этом сером фоне, возле межи с редкими осинками, резко чернел и пахнул холодной землей вскопанный за день загон картофеля.

Бездюдно, одиноко-печально было в осенних полях» («Марыно счастье»).

Заметно, что во всех этих картинах преобладают серые краски, грустные или печальные звуки, подчеркнутая унылость, одинокость. И не потому, что перед взором автора вдруг всплыval традиционный образ осени, унылой поры, а потому, что образ этот соответствует дальнейшему содержанию рассказа, всему мироощущению писателя. В рассказе «Одна» обыкновенная канцелярия в большом шумном городе изображается в тех же, если не более жестких, тонах:

«Было тихо и пусто; затхлый канцелярский воздух и молчание казенной обстановки, покинутой людьми, дышали чем-то неуловимым, напоминавшим веяние смерти».

Рассказ в самом деле кончается драматически. Огромный грохочущий город выпил душу молоденькой машинистки и «поглотил ее»; так ненавистна стала ей ее казенная изнуряющая работа, так измучил ее одинокий «будничный, наполненный мелкими домашними заботами угол», что она вопреки разуму бросилась в водоворот праздно-киляющей жизни города. Очевидна антиурбанистическая направленность рассказа, тогда довольно распространенная, но ведь и деревня у А. Жилякова не выглядела лучше, привлекательней «суетливого, бестолкового» города, то равнодушного к судьбе человека, то зовущего к себе.

Староверы, которых нередко изображает А. Жиляков, хотя и слыли православными, церковь посещали неохотно, ребят в школу не от-

пускали, убежденные в пагубности гражданской грамоты, всякому новшеству сопротивлялись фанатично, жили представлениями старозаветными, несообразными и даже диковатыми по понятиям нового времени. А когда в старообрядческом селе появился свой же, но необыкновенно притивный юноша Андрей (рассказ «Крик в камышах»), который хотел много знать, читал гражданские книги, отказываясь признавать, что земля на трех китах держится; искал другой, более осмысленной жизни, то его вскоре объявили и порченым, и знающимся с нечистой силой. А когда в пустовавшую школу опять — в который уж раз! — прислали новую учительницу и Андрей ревностно начал ей помогать, то сразу пошли на них, дружных, чистых и светлых, «гнусные намеки и угрозы доносом». Учительница не выдержала — уехала, Андрей же, полюбивший ее, снова, как и прежде, остался одиноким в родной деревне и впервые с такой непереносимой болью в груди явственно услышал тоскующе-надрывную мольбу того неведомого, кто и раньше постоянно кричал здесь из-за камышей.

В рассказе «Марьино счастье» над Марьей, виноватой в том, что ее любили не только парни, но и «чужие мужики», учинена такая расправа, что иначе, как зверской, ее не назовешь. В «Краже» мужиками вершится злобный самосуд над «поселенцем» в основном за то, что он выпадает из привычного для них течения деревенской жизни, непонятен и чужд ей.

Однако А. Жиляков не стремится осуждать только самих крестьян. В рассказах у него постоянно виден главный виновник — царизм, реакционная власть, калечащая или уничтожающая жизнь людей за малейшую попытку как-то разобраться в происходящем, что-то изменить вокруг. Любой свет, зажегшийся в глазах людей, был ненавистен и гасился с тупой безоговорочностью. Трагически завершается, например, рассказ «Втихих полях». В обычное мерное течение событий на селе, куда «не доходил гул новой жизни», врывается, как сказано в звучине, действительно нечто враждебное: урядник, грубо попирающий человеческое достоинство, ничем не приметный охранник, осуществляющий гласный надзор за политическими «ссыльными», а вместе с ними и вся полицейская машина царизма, обнаглевшая, упивающаяся своей силой и властью.

Политический «ссыльный», еще юный Сосновцев, определяется на посту «Трофиму Никифоровичу. Мужики насторожены, повторяют нелепые слухи, строят догадки и предположения, но потом привыкают, особенно сам Трофим Никифорович, заметивший, что Сосновцев открыт и честен, все говорит и делает «от сердца», и не раз «они подолгу засиживались вдвоем». Надзиратель, однако, не дремал. Сосновцев и Трофим Никифорович арестованы и увезены в город, а полюбившая постоянца дочь хозяина Варя повесилась. Психологической мотивировкой поведения Вари в рассказе нет, и пока оно воспринимается чисто умозрительно (кстати, такой концовки не было в первом опубликованном варианте — см. газ. «Ог Тобола», Курган, 1912, VI; «Жизнь Алтая», Барнаул, 1912, 19/VII). Видимо, жестокий исход в несколько элегическом рассказе потребовался для четкого выделения в нем основного — жестокости мер правительства, их бесчеловечности и правовой несостоятельности. Как бы то ни было, ощущима известная доля схематизма во взаимоотношениях Вари и постоянца. Да и

характер самого Сосновцева мог бы быть более емким. Тенденция явно просвечивает в рассказе. Но в те дни она была своевременной, так как только что свершились трагические события на Лене, и свидетельствовала о подлинно гражданской позиции А. Жилякова. Не случайно почти сразу две газеты напечатали этот рассказ.

Не одинаковы у А. Жилякова и политические «ссыльные». Не все из них ведут себя достойно, способны работать, сохранить себя, свои убеждения. Рассказ «Во мгле» особенно критичен и предвосхищает в какой-то мере повесть И. Гольдберга «Его путь». Трое спившихся «ссыльных», как бы хорошо они ни философствовали, сколь бы ни каялись в своих прегрешениях, как бы ни обвиняли «серую мглу действительности», застилавшую «яркий просвет» и «широкие перспективы», никакого сочувствия не вызывают у читателя.

Политические «ссыльные» или «поселенцы» вообще частые герои произведений А. Жилякова, и мы можем даже проследить, каковы же они в его представлении. Сосновцев спорил с товарищами, делился своими мыслями с крестьянином, работал вместе с ним на полях и сенокосе. Подробней его внутренний мир не рассмотрен, не изучен. Артем из рассказа «Чужие» был сослан в Сибирь лет двадцать назад, не раз сбегал, но неудачно, потом смирился, «привык, прирос к земле», а по существу разуверился. С вновь прибывшим «ссыльным» студентом он уже не находит общего языка, убежденный, что люди «долго еще не пойдут за вами по слепоте своей», к тому же «каждый из нас слишком любит себя». В этом он видит главное препятствие: «Давно я стал сам по себе. Всегда меня гнали, везде мне не хватало места, и я... Я как будто стал между природой, которая молчит, и людьми, которые много говорят, но редко понимают друг друга». Это уже определившаяся философия, продиктовавшая линию поведения, а не банальное пьянство от безделья и тоски. Постепенно, углубляясь в характеры, казалось бы, в основном согласных между собой людей, мы постигаем, что нетерпеливый, ищущий студент значительно ближе автору, чем этот Артем, забывший свое настоящее имя.

Лирический герой рассказа «Улыбки лета» предстает в ином качестве. Он сильный здоровый человек, не раз «по воле всесильного краевого сатрапа» «ссылавшийся то в одну, то в другую деревню». Часто сбегал и, естественно, вновь падал в тюрьму. «Ссылька меня нисколько не тяготит», — спокойно заявляет он и «всего себя отдает лесу, речке, солнцу, отдахая от перенесенных лишений и скитаний». Его непосредственный рассказ о милой девушке, напуганной в детстве еврейскими погромами, слабенькой, болезненной, но жаждущей всю себя посвятить людям, наполнено светом и сознанием необоримости зреющих в народе сил. Тут примечательна непосредственность, с какой она, дачница, барышня, входит в доверие к Михеичу, деревенскому мастеровому, и быстро обретает его трогательную любовь-дружбу. Умный Михеич почувствовал неизуздность ее натуры, ее духовную красоту, ее устремленность в завтрашний день. В спокойной уверенности зрелого политического деятеля, в дружбе порывистой молодости с народной мудростью промелькнула для автора надежда на лучшее будущее.

Именно промелькнула, так как колорит большинства предреволюционных произведений

А. Жилякова — здесь следует назвать еще «Слезы», «На рассвете», «Большая тюрьма», «Из прошлого», «На постоялом дворе» и другие — мрачен, мглист, сер и часто беспросветен. Для характеристики противоречий в мировоззрении писателя той поры показателен символический рассказ «Большая тюрьма». Символика его прозрачна и не отличается оригинальностью. Измученный голодом человек грезит. Его посещают фантастические образы, в голову лезут разные странные мысли, и он начинает понимать, что весь мир — это большая тюрьма без стен, где «каждый сам себя сторожит». Постоянно голодный, человек навечно прикован к котелку с пищей, и этим определяется его суть. «Мы в тюрьме, которую называют жизнью», — говорит бегающий суетящийся около котелка человечек из грез голодного.

Как по характеру творчества, так и по его общедемократическому направлению, А. Жиляков прочно входит в число писателей критического реализма, который определялся в Сибири именами И. Тачалова и В. Шишкова, П. Драверта и И. Гольдберга, Г. Вяткина, Г. Гребенщикова и другими, близкими им писателями. И когда свершился Октябрь, а власть в Сибири перешла к Советам, А. Жиляков мог по праву назвать себя советским писателем — так много думал он о грядущей революции и людях, которые ее готовили. С этого исторического рубежа для него, как и для многих, начался новый, пусть короткий, но чрезвычайно важный период.

П. Казанский, первым оценивший весь творческий путь А. Жилякова, писал в статье «Две утраты»: «Последние его произведения по художественным качествам стоят ниже более ранних» («Сибирские огни», 1922, № 2, стр. 162). С этим трудно согласиться, если внимательно взглянуть на созданное им за последние (1918—1921) годы.

В июле 1918 года, то есть до колчаковского переворота, А. Жиляков публикует большое произведение «Мирское дело» с подзаголовком «Страницы деревенской жизни». Это было принципиально важное выступление по самому волнующему крестьян вопросу: как жить дальше, по какому пути развиваться? Михаил Лукич, главный герой произведения, воодушевлен идеей кооперации. В образовании артельного капитала он видит средство избавления от капитала кабального, частного. Но артельщики не поддерживают Михаила Лукича, и он, без того необыкновенный для деревни человек — не принимает участия в традиционных гулянках, не пьет хмельного, много думает и мечтает об успехах общественно значимого «мирского» дела, — остается в грустном одиночестве. И эту грусть его разделяет автор, тоже убежденный, что кооперативное хозяйство — верный путь.

Развитие кооперативов в Сибири усилилось в годы первой империалистической войны. Они сыграли значительную роль в вытеснении частного капитала из сельского хозяйства, интенсивно способствовали обобществлению сельскохозяйственного производства и сбыта. Конечно, в условиях царизма кооперативы носили буржуазный характер, но они подготавливали новые средства производства и обмена, могущие быть использованными, по мнению В. И. Ленина, после свержения капитализма (см.: Полное собр. соч., т. XIX, стр. 352). Проанализировать весь ход развития кооперативов в Сибири, напомнив решения на

этот счет VIII и IX съездов партии, авторы «Истории Сибири» заключают: «Таким образом, развитие кооперативов до 1917 года необходимо рассматривать как одну из важнейших социально-экономических предпосылок социалистической революции» (т. 3, стр. 445). Следовательно, не шуточные и отнюдь не прокуляющие проблемы поднимал А. Жиляков на своих «страницах деревенской жизни». Конечно, Михаил Лукич еще не понимал, в какой мере серьезно подорвана в стране власть частного капитала, но он готовил себя и своих артельщиков к известным и понятным для него схваткам. И был тогда в какой-то мере прав: через несколько месяцев в Сибири установится власть Колчака.

Девятнадцатый год, прожитый под пятой колчаковской диктатурой, не мог не сказаться на настроении и взглядах писателя. А. Жиляков еще в большей степени утверждается в своем полном неприятии старого, вдруг вновь вернувшегося уклада жизни — с его отвратительной солдатчиной, урядниками, попами и офицерами, с обывателями разных сословий.

Трудно установить с необходимой точностью даты появления произведений А. Жилякова, но можно с уверенностью сказать, что в последние годы жизни он написал два подлинно критических рассказа («Яма» и «В притоне»), подготовил к изданию сборник из трех рассказов под общим заглавием «Во мгле», завершил начатую еще в 1916 году трилогию о детстве «У истоков жизни», создал пьесу «Северные зарницы». Писатель переживал безусловный творческий подъем, никогда до этого он не выступал столь уверенно и зрело, с таким гражданским пафосом, с такой убежденностью.

Рассказ «В притоне» сохранился в верстке журнала «Сибирский рассвет». Есть основания предполагать, что он не был пропущен колчаковской цензурой. Ведь совершенно очевидно, что герой рассказа — солдаты из гарнизона, расположенного в городе. Чем примечательны они прежде всего? Крайней степенью духовного убожества, отвечает автор. Вырвавшись на волю из казармы, они не знают, что им делать, как и куда уйти время. Затем выясняется, что попасть в злачное место с дешевыми девицами и гульнуть — предел их желаний. Один из них, Богослов, упившись, признался, что он воровал причастия и с тех пор испытывает «страх перед... бесконечностью», то есть перед завтрашим днем, перед будущим своим; другой, Соколов, — солдафон без чести и совести, он ошеломляет своей выходкой даже глупую проститутку: уходя, он крадет у нее четвертную кредитку. Самая колоритная фигура рассказа — дьякон, пострадавший за свое «свободомыслие»: он отслужил «панхишу по убиенным 9 января рабочим». Злободневно прозвучал его ответ на обвинение в сознательном свершении поступка «политического характера». «Не знал я, — говорю, — не слыхал даже, чтобы религия, заветы Христа, изменились сообразно требованиям политики». Отслужил, потому что считал это христианским долгом. Возможно, и правда: дьяк не знал, что делал, потому-то и запил, когда «на некоем был услан послушанье». А солдатам, убежден автор, знать об этом надо. Но где же им всем — у каждого «душа прорызвлена» то равнодушием, то страхом, то собственническим свинством.

Не менее актуальным оказался и рассказ «Яма», опубликованный журналом «Сибирский

рассвет». Известно, как восторженно встретила почти вся интеллигенция России февральскую революцию. Но Октябрьскую значительную ее часть не принимала, а некоторые вчерашние «революционеры» и «демократы» даже заговорили языком охранителей привычного старого мира. Вот об этой городской обывательской интеллигенции и написан рассказ.

Андрей Коронатов, на первый взгляд, неплохой молодой человек. Если к карьере не тянялся, то это по молодости; если выжидал и не действовал, то от чистой веры в возможность «приблизить будущее» помимо каких-либо усилий; если слушал городские сплетни, то... невольно; слишком тонки перегородки, отделяющие его комнату от соседей.

Вглядываясь в Коронатова, вслушиваясь в «свистящий шепоток» сплетницы Агафьи, изображенной уже с мастерством, знакомясь со старухой-пенсионеркой, не могущей и дня прожить без Агафьиных новостей, мы убеждаемся, что городок Ковылин в самом деле не более как «грязная, всегда наполненная мутной водой яма, кстати, действительно украшающая город».

Любовь Коронатова к Ванде, дочери только что приехавшего в город лесничего Стемповского, описана с язвительной иронией. Тут и «тонкие иглы», вошедшие в сердце, и «тень в глазах», и «болезненная застенчивость», и «возвышенный разговор о пьесе Чехова, о времени, когда «небо засверкает алмазами», и «бессонные ночи», когда подкрадывалась подстерегающая мысль: «А что, если все это только чувственное опьянение, распаленное постоянными мыслями о ней?» Словом, перебран весь аксессуар романтической увлеченности любовью сегодня, «кипучим потоком жизни» — завтра, а реальный результат для него всегда один: сплетни Агафьи, животная связь с Агафьей, зловонная яма города, погрязшего в пошлости и цинизме. Коронатовы, благополучные, пусто мечтающие интеллигентики, не способны упорядочить даже собственную жизнь, где им подумать о других!

Рассказы из цикла «Во мгле» вовремя напоминали читателям о мерзостях старого мира. Мещанин, озверевший собственник, не останавливается перед убийством отца, который, не ведая того, отдает цыгану хомут с запрятанными в нем деньгами («Беда на Загонной улице»). Поручик Иванищев, кровавый усмиритель рабочих, спивается от сознания гибельности своего жизненного пути, от страха перед ответственностью («Братья»). Пристав, палач, пьяница и разрватник, требует от такого же, как сам, мерзавца извиниться за пощечину, отвшенную проститутке. Гнусная игра в гуманность, в соблюдение приличий в неприличном месте и неприличными средствами («Пощечина»).

Социальный аспект рассмотрения действительности и ранее не был чужд писателю. Здесь что ни портрет, то социальный тип, данный в живых человеческих связях, экономно и сочно. Даже денщик Шуткин, лицо в рассказе «Братья» не первостепенное, есть обобщение обезличенности мужика-солдата, доведенного муштрай до идиотского состояния. Замызганный мундир, выжидательно-угодливая бороденка, торопливый бабий говорок и тукая неразмышающая покорность составляют суть его внешнего и внутреннего облика. На окрик — «очевидный ты, братец, дурак!» — «Шуткин часто заморгал ресницами,

словно собирался заплакать, потом сделал тяжелым, неуклюжим сапогом па и, суетливо двигая локтями, побежал на кухню». Как бы ни разделяло их положение в обществе, они, поручик и денщик, братья по духу, и покорность такого рода, утрата человеческого достоинства, раболепие не имеют оправданий в глазах писателя. Пристав, поручик, денщик, мещанин-убийца — на каждом из них печать разложения господствующего класса в канун революции. Характерно, что в этих рассказах, несмотря на жуткие, мрачнейшие события, в них изображенное, нет теперь авторского отчаяния или тоски, только пафос обличения, жестокого и бескомпромиссного. Как и прежде, почти каждый рассказ — миниатюра, но нет в них теперь эскизности, недосказанности, скороговорки, все подчинено характеру, объяснению его истоков, анализу состояния души. Савелий, убивший отца, не от рождения жесток. Акимыч тоже ведь всю жизнь прожил ради вещей, гордился нажитым домом, хозяйством. Через внутренний мир Акимыча, ограниченный собственничеством, постигает читатель характер его сына Савелия, человека угрюмо-одинокого, нелюдимого, жадного. Едва ли не впервые в жизни умирающий Акимыч проявил слабость — даром отдал цыгану старую, не нужную ему хомутину и по логике господствующих в его среде социально-нравственных устоев поплатился за это. Эту закономерность, воплощенную в ёмких реальных характеристиках, и стремится подчеркнуть писатель в книге «Во мгле».

Автобиографические главы о детстве «У истоков жизни» П. Казанский справедливо назвал «прелестной трилогией». В самом деле, это одно из поэтических произведений А. Жилякова, неоспоримое свидетельство незаурядности его таланта. Просто, с подкупющей искренностью рассказано о событиях по преимуществу горьких — о первых бедах и расставаниях, — но в них все пронизано светом, радостью бытия, надеждами. Тот оптимизм, который нет-нет да пробивался в произведениях А. Жилякова, здесь заполняет едва ли не все страницы. Родная деревня, ее люди, природа, отец, такой незабываемый, — все овеяно любовью и нежностью, детской верой в несокрушимость добра. На переломе эпох рождался новый писатель, воодушевленный жизнеутверждающими идеями вёка.

Об этом же свидетельствует пьеса «Северные зарницы», последнее, над чем работал А. Жиляков. Она во многом несовершена и относится к обычным агитационным произведениям двадцатых годов. Но тема ее — революция, действующие лица — рабочие, основное событие — демонстрация трудящихся небольшого провинциального городка, их столкновение с полицией. Идет 1906 год, наборщики и сотрудники газеты «Северные зарницы» готовятся на первомайскую демонстрацию, но в редакцию врываются жандармы и опечатывают типографию за опубликованный в газете призыв «Все на демонстрацию!» Третья картина в рукописи не сохранилась, но вторая заканчивается словами рабочего-сторожа, заменяющего и редактора и издателя, которые уже сидят в тюрьме: «Заполыхали наши зарницы!» А. Жиляков закономерношел к освоению новых, революционных тем.

Жизнь и творчество Арсения Жилякова — притягательная и своеобразная страница в истории литературы Сибири.

Арсений ЖИЛЯКОВ

У ИСТОКОВ ЖИЗНИ

(ГЛАВЫ О ДЕТСТВЕ)

ПЕРВОЕ ГОРЕ

Чесноковский колок, длинный, казавшийся Кирилке бесконечным, с трех сторон примыкал к селу Кукарцеву, придвигал его к обрывистому берегу озера, сверкающей гладью уходившего куда-то далеко к востоку, и как будто отгораживал столетнюю деревню от всего мира. И те люди, что жили, вероятно, по ту сторону леса, по догадкам Кирилки, были какие-то неводомые великаны, совсем не похожие на тятку и мамку, на дядю Прокопия, на тетку Матрену и вообще на всех, кто окружал его с того дня, когда Кирилка стал помнить себя.

Чесноковский колок давно, еще с самого раннего детства, сильно интересовал и в то же время пугал Кирилку. Ему казалось, что если пройти в глубь леса версту или больше, то встретится что-нибудь невиденное, быть может — красивое, как сказки бабушки Агафьи, а быть может, — такое страшное, от чего придется далеко-далеко убегать...

Другой берег озера, теряющийся где-то там, на востоке, откуда по утрам выплывает огромное солнце, представлялся Кирилке таким же далеким, как и край неба, на который, по рассказам бабушки, кладут на ночь прялки.

И когда Кирилка уже боронил на Гусихе, ближней дедовской пашне, Чесноковский колок, через реденькие осинники и сильно вырубленные по межам березняки, мрачно, как будто даже угрожающе, по целым дням смотрел на

Кирилку, и он не замечал, как из губ, потрескавшихся на сухом и холодном весеннем ветру, сочилась кровь, а кожа на лице, как береста, коробилась и шелушилась.

Все внимание, все помыслы Кирилки тянулись к Чесноковскому колку, такому близкому, манящему и — таинственному.

Рано утром, когда и трава на межах, и борона, впившиеся в рыхлую землю, были еще смочены росой, с опушек Чесноковского колка доносилось звяканье ботала — отчетливо, мелодично, как доносится каждый звук на заре. Там же, где-то далеко и вместе с тем близко, иступленно токовал косач, будто отплевывался от чего-то с сердитым урчацем. Позднее, когда всходило солнце, где-то уже совсем близко, как будто вот тут, позади шалаша, начинала звонко высвистывать ивогла. Яркие лучи солнца золотили вершины трепетных осинок и грустно-задумчивых берез, гнали из леса седые струи тумана, расстилавшиеся над пашней длинными, чуть-чуть колеблющимися полосами, и Кирилке казалось, что кто-то там, в Чесноковском колке, теперь уже встал и, наверное, умывается: оттого и пар...

Пока Кирилка боронил с отцом на своей пашне, его не посыпали в лес, и он хорошо знал только кусты да осинники, окружавшие шалаш. Он еще не мог поймать и распутать лошади, не мог без помощи взрослых взобраться на седло — его еще подсаживали и снимали с верш-

ны. Но когда он сидел верхом, то уже чувствовал себя большим и видел далеко — дальше кустов смородины и даже черемухи, что росли за шалашом.

Нынешней весной Кирилка был на целый год старше и уже самостоятельно влезал Игремьке на вершину, и только пользовался при этом или пнем, или колесом телеги. И уже гордился этим. Уже смело подергивал поводья и властной рукой молодого хозяина заставлял повиноваться себе старого смиренного Игремьку.

Но в эту же весну на голову Кирюшки свалилось горе, первое горе, выдавившее из синих глазенок первые слезы отчаяния.

У отца Кирилки сев в эту весну был маленький. Два года подряд случился недород, и не хватило семян. Поэтому Кирилкин отец решил нынче боронить сам, на поводу, а Кирилку отдал в бороноволоки к богатому дяде Прокопию.

И здесь Кирилка впервые узнал, что дядя Прокопий не так уж добр, как казалось раньше, и что лошади не все уж так смирны, как смирен Игремька или Карюха. Здесь снова пришло пользоваться обидным для Кирилкина самолюбия подсаживанием на вершину. Притом руки у дяди Прокопия, в особенности у сына его, Поликарпа, были куда тверже, чем у отца или старшей сестры, и больно сдавливали бока.

С первых же дней жизни в чужих людях Кирилка убедился, что здесь зачем-то раньше встают и едят меньше, и не так сладко, как недавно еще было у мамки, а боронят на пятерых лошадях, которые часто заступают в постромки и, как на зло, путаются на заворотах. И чилизен он стал делать как будто больше, чем на домашней пашне. И тут еще Поликарп, который стоял на меже и чистил бороны на заворотах, постоянно грозился отстегать обратью, если будут чилизны...

Боронил Кирилка и все думал. Думал о том, что тятка после того, как умерла мамка, стал «нужным», а дядя Прокопий — богатый, и потому сердитее. Думал еще о том, что когда вырастет большой, то не будет боронить на пятерых, а только на Игремьке да на Карюхе. И когда станет сам тяткой, а у него будет боронить такой же маленький Кирилка, как он вот теперь, то даст ему теплую шубейку, чтоб не так продувал ветер. И рано тоже будить не будет, а в павожну даст спать часок под телегой...

А уж Чесноковский-то колок весь исходит и изъездит — чего бояться большому-то...

Раздумавшись снова о Чесноковском колке, Кирилка уехал далеко в сторону и сделал огромную чилизну.

— Я те, варначонок вислоухий! Я те, воронье пужало! Вот погоди ужо! — орал на меже Поликарп и сердито тыкал в землю суковатыми вилами.

В этот вечер, когда выпрягли лошадей, Кирилка в первый раз попробовал дядиной оброти... И когда укладывался с Поликарпом спать в пашенном шалаше, впервые почувствовал горечь собственных слез, которые надо проглатывать тайком, а не реветь открыто, как при мамке.

Утром Поликарп опять разбудил его рано — ни свет ни заря. Собрав оброти, он отбросил одну и сказал Кирилке:

— На, иди за Пеганком... Он имкой, не бойсь. Вон там, слышишь ботало-то?

Ботало редко и слабо позвякивало где-то как будто близко, но — там, у Чесноковского колка, дальше знакомых кустов. И Кирилка забоялся было, взял оброти и не шел, но Поликарп, уже сердясь, крикнул:

— Ну! Чего стал, пужало!

Кирилка побрел в кусты и, оглядываясь, заметил, что Поликарп пошел совсем в другую сторону. Тоскливо стало Кирилке, и шел он едва передвигая ноги. Но боязнь перед Поликарпом была еще больше, воспоминание о вчерашней оброти — еще слишком свежо, и Кирилка, осторожно оглядывая каждый куст и часто останавливаясь, чтобы прислушаться к звяканью ботала, все же подвигался вперед.

Утро было ясное, безоблачное, и Кирилке казалось — скоро взойдет солнце. Но холод еще больше щипал щеки и руки, и сквозь дырявые сапожонки к онучам уже просачивалось мокро от травы. А тут еще березы пошли все высокие да густые — не видать неба!

Ботало, то звонко, то приглушенно, все позвякивало, и, казалось, вот-вот покажется Пеганка. И Кирилка робко позвал его:

— Пррсё, пррсё!

Но губы и от холода, и от страха едва шевелились, и Кирилка сам не услышал своего зова.

— Поликарп, Поликарп! — сквозь слезы, звонко закричал он. В ответ послышалось ржанье Пеганки, и Кирилка,

ободренный близостью его, побежал на голос.

Пеганка доверчиво подпустил Кирилку к себе и зачем-то прикоснулся к его спине толстыми жующими губами, когда тот склонился к путам. Путы, сильно намокшие, затвердели, и толстый узел не вывертывался из петли. Того закрученные с вечера, когда были сухими, они теперь до того плотно облегали под щетками ноги лошади, что, казалось, врезались в мясо. И сколько Кирилка ни бился с ними, ломая ногти, узел не сдвигался с места и петля крепко держала его, точно в тисках. Кирилка заплакал, стоя перед Пеганкой на коленях. Старый мерин склонял к нему свою наполовину белую, наполовину рыжую морду и, словно ободряя Кирилку, осторожно обнюхивал его, шевелил толстыми морщинистыми губами и шумно дул из розоватых, с редкими волосами ноздрей.

Лес, огромный, не имевший для Кирилки краев, стоял кругом безучастно-молчаливо и скрывал от него самое небо. Слезы отчаяния, полной безнадежности, тяжкого, непоправимого горя грязными торочками текли по чумазому лицу Кирилки, и ему казалось, что теперь только Пеганка жалеет его: большие черные-черные глаза тоже как будто мокры и часто мигают...

Кирилка долго выл, звал Поликарпа, а потом снова принимался бессильно царапать узел пут. Гряз их зубами, тянул обеими ручонками за середину, и Пеганка слегка приподнимал одну ногу, будто хотел помочь ослабить узел. Но Кирилка ничего не мог поделать и, горько плача, уже всхлипывал, как взрослый. И все стоял перед Пеганкой на коленях — как бы молил его помочь беде.

Свет вверху, там где-то, высоко-высоко меж ветвей, стал ярче и там же, вверху, зашелестел ветерок. Словно теперь только увидели березы Кирилкино горе и тихонько перешептываются о нем: или удивляются невиданному, или советуются — как выручить Кирилку из беды.

Глянув вверх, Кирилка вспомнил, что отец, когда бывает в поле и когда нет божницы с иконами, становится лицом к той стороне, откуда входит солнце, смотрит на небо и творит молитву. Кирилка также припомнил, что отец в молитвах часто поминает Миколу-святителя и все просит его помочь. И Кирилка, не вставая с колен, обернулся лицом в ту

сторону, откуда пришел, поднял вверх застланные слезами, теперь поблекшие, словно выцветшие, синеватые глаза и торопливо залепетал:

— Батюшка Микола... Угодничек... Помоги, вызоволь меня... грешного... Свечку поставлю, когда вырасту... Большую, в руль... право, батюшка Микола!

— Помоги-и! — пискнул он, заканчивая молитву, и снова заплакал навзрыд.

Потом опять принялся за путы. По-прежнему они были твердые, того намокшие. Из-за ногтей и из десен у Кирилки уже шла кровь, а он все ничего не мог поделать. И, как бы выплакав все слезы, молча безнадежно куксился, размазывая по лицу кровь.

Пеганка долго стоял с таким же безнадежным видом и терпеливо ждал. Но, видя, наконец, что освободиться от пут нет надежды, склонился к траве и, лениво пощипывая ее, сделал короткий скачок, чтобы передвинуться с места. Ботало гулко звякнуло, и Кирилка понял, где спасение.

Он подбежал к Пеганке и принялся отчаянно звонить боталом, чтобы услышал Поликарп.

Но когда Поликарп уже бежал лесом, окликая Кирилку, страх перед неизбежными побоями снова сжал сердце. И Кирилка уже не рад был, что Поликарп бежит на его зов. Уже хотел бы лучше остаться один на один с Пеганкой, таким добрым и смирным, или — убежать...

Подбежав ближе, Поликарп остановился и долго молча смотрел на Кирилкино лицо. Потом, все продолжая молчать, склонился к ногам Пеганки и твердыми пальцами, с широкими жесткими ногтями, в один прием вывернул из петли узел пут, и Пеганка свободно переступил ногами.

Затем Поликарп злобно ударил старого мерина путами по морде и, все еще продолжая молчать, повел его.

А Кирилке — ничего не сделал.

КИРИЛКИНА БЕДА

Отошло куда-то назад знойное, как солнечный сон, лето; осталась где-то позади, словно растаяла, студеная, с трескучими морозами и мглистыми буранами зима, и пришла новая, сверкнувшая другой, незнакомой еще улыбкой, весна.

Но и в эту весну у Кирилки было мало

радостного. Еще зимой в доме появилась мачеха, чужая, привезенная отцом из какого-то дальнего села, в котором живут, должно быть, только злые, ненавидящие друг друга люди...

Однажды Кирилка играл в палисаднике, когда его окликнула мачеха. От неожиданности и знакомого, всегда путающего голоса он уронил сложенный им под кустом черемухи домик из палочек, вскочил, поддергивая синие холщовые штанишки, и боязливо-выжидательно уставился на раскрытое окно.

— Айда в избу, паршивец! Айда, тебе говорят! Ч-черт те надавал, углана паршивого! — кричала из окна мачеха и злобно тряслась головой. На макушке у нее угрожающе качались торчком завязанные концы платка, рукава рубахи были засучены до локтей и запачканы в муке коричневые жилистые руки.

В палисаднике Кирилка чувствовал себя укрытым от всех невзгод и, заползая в самую гущу кустов, жил здесь по целым дням. Но зоркий, всегда сердитый взгляд серых глаз мачехи, опущенных шерстистыми белесыми бровями, нащупывал его и здесь, и резкий, с злым присвистом голос каждый раз заставал Кирилку врасплох и тоскливою болью сжимал сердце.

С минуту Кирилка стоял притаившись.

— Может, забудет! — подумал он, когда в окне не стало видно мачехиной головы, и, тихонько переступая босыми, потрескавшимися ногами, попятился в тень кустов.

Словно сожалея Кирилке и ободряя его, к нему тянулись, чуть-чуть покачиваясь, распускающиеся в тяжелые гроздья цветов ветви черемухи, и ласково-трепетно поблескивала на солнце твердая чеканная листва тополей.

Но через минуту из окна снова высунулась голова мачехи, по подоконнику застучала облепленная тестом скалка, и Кирилка виновато поплелся из палисадника.

В надежде найти заступника, который быкрыл бы его от мачехиного гнева, Кирилка зорко-выжидательно оглядывался по сторонам. Но на улице никого не было. Было позднее утро, и все уже разъехались по пашням.

У калитки Кирилка остановился, снова растерянно поддернул сползшие штанишки и еще раз, плаксиво морща нос, огляделся кругом. Но везде было пусто и

тихо. Даже собаки как будто попрятались куда-то. Заглянул в ограду — тихо и будто враждебно все. Старый обомшевый амбар выжидающе-сердито нахмурился и вот-вот забранится, как только Кирилка перешагнет ограду. А у низенькой, ушедшей в землю погребушки косая дверь злобно гrimасничает и нависшая с крыши желтая осока будто шевелится — как есть мачехины брови...

Где-то на задворках голосисто, нараспев, заростилась курица, в соседской ограде кто-то звякнул у колодца бадьей, и Кирилка почувствовал, что он уже не один на один с мачехой и если заревет — его услышат. И торопливо, чтобы снова не наступила тишина, шмыгнул на крыльце, стуча по ступенькам твердыми пятками.

Мачеха стояла в избе спиной к окнам, и лицо ее после яркого солнечного света Кирилке не было видно. Он видел только черные, резко обрисовавшиеся на свету концы платка, острыми углами торчащие к потолку, и по тому, как они вздрагивали над круглой головой, догадывался, что мачеха сердится пуще прежнего. И не слышал, а чувствовал летевшие к порогу шипящие слова:

— Спрятаться хотел?! У-у, чёртовы выгонки!.. Только того и глядишь, как бы отлытать... Погоди ужо! Я те вот!..

Стоя у порога, Кирилка закрыл глаза и уже заранее чувствовал на себе удар твердой скалки. Ждал ударов, как неизбежного и неотвратимого, и мысленно даже торопил мачеху, чтобы скорее пережить это неизбежное. Но мачеха необычно медлила и почему-то долго не била Кирилку.

Стукнув о стол скалкой, она ушла в горницу, и слышно было, как хлопнула там крышка сундука.

— Поди сюда! Поди, тебе говорят! — послышалось из горницы, и Кирилке показалось, что мачеха как будто уже меньше сердится. И еще больше удивился, когда она, сунув ему в руки красный платок, уже без ругани говорила:

— Вот... На-вот... Поди, сбегай к Дарье Васильевне. Скажи, мать просила, мол, чаю фамильного закладки на две... Чуешь?! Чаю фамильного в платок она отсыплет тебе. Да смотри у меня, не просыпь! Смотри под ноги-то, верхогляд полоротый! Крепче держи платок-то. А ежели просыплемшь, не показывайся и домой!

Дарья Васильевна была крестной Кирилки, и он знал дорогу к ее дому. Но на пути было много опасных мест: злые собаки дяди Трофима, всегда лежавшие у ворот и караулившие прохожих; топкая лужа в Маленочковом проулке, где тонули даже лошади и коровы; а в конце этого проулка стояла Аполитова кузница, из которой Аполитка пугал ребятишек раскаленным железным прутом. Все это заставляло Кирилку много думать, много бояться, и поручение мачехи, строгий наказ ее он уловил вскользь, вполуха.

И чтобы не забыть, зачем он послан, Кирилка, спускаясь с крыльца, повторял про себя шепотком:

— Чаю, платок. Чаю, платок... Платок, чаю!

Горячее солнце золотом облило льняные Кирилкины вихры, ласково брызнуло в лицо и тепло-любовно охватило всю его маленькую фигурку. И уже не было страха перед мачехиным гневом; забылись опасности на пути. Вприскачу бежал он меж огородов, поминутно откидывая со лба мешавшую смотреть льняную прядь спутанных волос, и глаза его уже радостно поблескивали ясною синью.

— Чаю, платок!.. Чаю, чаю!

Кирилка благополучно миновал Аполитову кузницу, в проулке мелькнули расписные решетчатые окна крестниного дома, и он уже посчитал было себя в безопасности. Но из-за огорода неожиданно вывернулся рыжий печник, всегда пьяный, еще более страшный для ребятишек, чем кузнец Аполитка. Он славился умением класть необыкновенно жаркие печи, и, должно быть, за это его прозвали — Жар. Весь он был какой-то огненный, со скатанной в длинные жгуты рыжей бородой, с лохматыми космами на непокрытой голове, корявый, с бугристым, что поджаренным лицом.

Увидев Кирилку, Жар остановился, округлил красные, слезящиеся глаза и свирепо зарычал:

— Ага! Вот я те в брюхе и сварю!

Кирилка был уверен, что Жар и в самом деле может варить ребятишек в брюхе, и страх жгучей волной прихлынул к груди и снова до боли сжал сердце. Он смотрел синими немигающими глазами на Жарово брюхо, плотно обтянутое лоснящейся пестрядинной рубахой, и не мог сдвинуться с места.

А Жар расставил ноги, наклонил голову, как будто собираясь боднуть Кирилку, и уже совсем страшным голосом рявкнул: — В брюхе сварю!

— Ы-ы-и! — взвизгнул Кирилка и, ничего не видя, понесся по проулку, едва касаясь земли.

В доме Дарьи Васильевны помещалась земская квартира, и во дворе у нее всегда было людно и шумно. Всегда ругались ямщики, кричали на лошадей, звенели дугами с колокольцами, выкатывали из-под навеса дребезжащие ходки. Но на этот раз, когда Кирилка вбежал во двор, там стояла какая-то настороженная тишина.

У крыльца смирно стояла тройка лошадей, запряженная в тарантас, и лишь изредка, словно украдкой, тихонько звякал колокольчик, когда задремавший кренник сонно вскидывал головой, представляя ноги. К тарантасу прислонился ямщик Игнатка и держал в одной руке вожжи, а в другой шапку. Ближе к крыльцу, точно не решаясь — войти ли ему, или еще подождать, — остановился и растерянно мял в руках шапку староста Иван Степаныч; на груди у него поблескивала медная медалька.

Кирилка, запыхавшийся, все еще чувствовавший позади себя страшного Жара, окинул все это одним беглым взглядом и уже собирался было шмыгнуть на крыльцо, но староста Иван Степаныч схватил его сзади за рубаху и сердито, и вместе с тем как-то боязливо, зашептал:

— Куда это ты, постреленок?! Куда?!

— К хресне я... пусти-и!

В это время наверху хлопнула дверь, и староста выпустил Кирилкину рубаху. На крыльце показался не виданный Кирилкой человек. Все на нем так и блестело на солнце — плечи, грудь, и — на лбу звезда... Широко расставив ноги и опираясь руками о косяки двери, он загородил собой вход и что-то резко и громко закричал ямщику.

Очевидно, незнакомый человек ругался, на кого-то сердился. Но он николько не походил на Кирилкину мачеху и как будто даже не замечал его, и Кирилка тихонько, ступенька на ступеньку, взобрался на крыльцо. Постоял, рассматривая блестящие сапоги, потом легонько дотронулся до широких синих штанов незнакомого, пробуя притиснуться в сени. Но нога стояла твердо и не пропускала Кирилку.

— Дяденька, пусти... а?! Право, пусти! — тихонько попросил он. Но незнакомый продолжал ругаться и упорно не хотел замечать Кирилки. Тогда он нырнул между ног незнакомого, и в тот же момент почувствовал себя крепко сжатым с боков, а потом блестящие сапоги чём-то звякнули и Кирилку сзади толкнуло что-то острое.

И — ничего; даже не обернулся незнакомый.

Дверь из сеней в горницу была открыта, и Кирилка, чтобы скорее попасть к крестной, не стал подниматься на ноги и, стуча коленками, полз по полу, пока его не подхватила за руку Дарья Васильевна.

Приотворив дверь, она приглушенно зашептала, будто боясь разбудить кого-то;

— Да что ты, пострел те возьми, — что это ты наделал! Ведь ты барина чуть не столкнул, дикошарый!..

— Мама велела дать полон платок чаю! — заявил Кирилка.

— Чай? Полон платок?!

— Фамильного, — добавил Кирилка громко.

— Ш-ш-ш! Постерли-те совсем! — и Дарья Васильевна замахала на Кирилку руками, опасливо оглядываясь на дверь. И все что-то мешкала — как будто не хотела дать чаю.

Кирилка собирался уже было зареветь, но на ограде зазвенели колокольцы, и Дарья Васильевна перестала прислушиваться.

— Ну, слава богу, уехал! Чай, говоришь? Полон платок? Да куда ей это столько? У меня у самой мало... — говорила Дарья Васильевна, но все же открыла сундук и достала красный бумажный фунтик.

— Вот половину дам. Скажи, пополам где разделила. Не просыпь, смотри. На!

— Хрёсна, а там-ка Жар! Боюсь я...

— Где Жар?

— Тамо-ка, в проулке. Сварить меня хочет... в брюхе, грит!

— Нету его теперь. Иди, не бойся. Он так это... Беги со Христом! Гляди, не развязался бы платок-то...

Жара в проулке уже не было, и Кирилка снова замелькал меж огородов, смело вскидывая льняными вихрами.

Привскакивая с ноги на ногу, он все думал о невиданном человеке, что стоял на крыльце.

— Ишь ты, сердитый, а не побил... как

будто и не видит! Добрый, должно. Не то что Жар...

Среди этих мыслей мелькало еще что-то досадное, беспокойное, но что это такое — Кирилка не мог припомнить. Слишком уж много было сегодня впечатлений...

Да и кузница вон близко... Опять этот Аполитка...

Но Аполитка стучал молотом по наковальне, и ему было не до Кирилки.

А беспокойная мысль о чем-то забытом все возвращалась и мешала глядеть на воробьев, на синичек, что так забавно кивают хвостиками, перелетая с комы на ком...

И только подходя к своей ограде, Кирилка вспомнил, что мачеха велела ему попросить у крестной чаю закладки на две, а он нес почти полон платок...

Вспомнив это, Кирилка почувствовал, как что-то холодное подкатилось к затылку, потом толкнуло в сердце и снова сжало его тоскливою болью. Он как бы перед ударом закрыл глаза, и в памяти быстро замелькало знакомое. Мачеха в черной шешмуре, с ухватом в руках; у ворот отец с возами сена; разбежавшиеся по гумнам овцы... Она била тогда Кирилку до тех пор, пока рубашка на нем не превратилась в клочья... Но когда заметила отца, подъехавшего к воротам с возами сена, сорвала с него изорванную рубашку и надела новую.

И теперь, когда с ним случилась еще большая беда, чем разбежавшиеся овцы, Кирилка понял, что будет неминуемо и сильно избит. А отца не было дома...

Мелькнула мысль — отсыпать чаю в канаву и принести мачехи закладки на две... Но как это сделать незаметно? Куда отсыпать, чтобы не нашли?.. И решил пробраться тихонько в палисадник и отсыпать лишний чай где-нибудь там.

В палисаднике Кирилка прислушался и, взбравшись на завалинку, осторожно заглянул в окно. В избе было тихо; только мухи жужжали над столом, все еще покрытым мукою и остатками теста.

— Нету! — решил Кирилка, вздохнул и стал копать ямку под черемухой.

Когда он развязывал уже платок, чтобы отсыпать чай, за пряслом послышались голоса. Кирилка притих.

— Полон, говорит, платок давай да и только! — узнал Кирилка голос крестной.

Мачеха что-то сказала и весело, раскатисто засмеялась.

— И где он, варначонок, шляется только! Не потерял бы на грех чай-то, — заорчала было мачеха, но ее перебила крестная.

— Нет, только подумать, матушка Настасья Ивановна! Прямо это заседателюто промеж ног! Думала — беда. Злой он был, с утра все ругался. То неладно, другое неладно, а тут еще постреленок этот. Ну да пронес бог — уехал... Надо же так напрокудить!

И обе они снова раскатисто засмеялись.

Кирилка почувствовал, что беда миновала, и, просунув руку сквозь ветви черемухи, поставил платок с чаем напоказ.

— Вот он, чай-то! Вот, целый весь! — звонко закричал он, и синие глаза его радостно, с затаенной тревогой сверкнули на солнце.

И над головой его снова ласково-ободряюще качались ветви черемухи и, точно смеясь над Кирилкиными страхами, трепетала твердая, сверкающая на солнце листва тополей...

КИРИЛКИНА ЛЮБОВЬ

Кирилке шел уже тринадцатый год, когда он по весне окончил приходскую школу и на следующую зиму, в филипповки, получил свидетельство с золотым ободком. Он стал считать себя взрослым мужиком, без которого в хозяйстве не обойтись. Но на дворе нечего было делать; зима стояла студеная, выюжливая, и мачеха, как назло, больно бередила Кирилкино самолюбие, заставляя сидеть в тепле и прядь на полатях грязную и липкую овечью шерсть, пахнущую чем-то кислым.

Это бабье дело было ненавистно Кирилке, оскорбляло его до слез, и он, краснея от стыда и злости, прятался на полатях в дальний угол, когда приходил кто-нибудь из соседей. Особенно боялся он уронить себя в глазах соседской Феонки, которая училась вместе с ним и, бойкая, с задорно раздувающимися ноздрями, всегда была склонна зло высмеять парня, попавшего в неловкое положение...

Но вскоре в судьбе Кирилки произошел кругой поворот, навсегда оторвавший его от ненавистной и стыдной для него прялки. Из дальней деревни, Бело-

зерья, приехал дядя Егор, материн брат, и надолго увез Кирилку из села.

Кроме почетного положения в роли гостя, Кирилке улыбалось еще более почетное положение — в роли учителя: у дяди Егора подрос сынишка, и пора было учить его грамоте, а в Белозерье не было школы. Тут уж было не до обидной прялки. Словно сознавая свою неуместность, она как-то сама собой склонилась в темном углу и лишь робко, виновато выглядывала с полатей нелепо торчавшим вверх замызганным копылком.

Предложение дяди Егора сразу подняло Кирилку в собственных глазах. Он старался медленнее выговаривать слова и озабоченно хмурил тонкие, едва намечавшиеся брови, мерно, не торопясь, шагал по горнице; деланно-рассеянным движением откидывал со лба вихрастые пряди волос, отливавшие отблеском горного льна.

В новой черненой шадринской шубке, опущенной по борту котиком, с гарусной вышивкой на груди, подпоясанный ярко-зеленою гарусной же опояской, в пушистой выхухоловой шапке, — Кирилка выглядел празднично и чувствовал себя не то женихом, не то рекрутом, которого родные провожают на чужую сторону, на тяжелую цареву службу... И к горделивому чувству, к пьянящему сознанию своей возмужалости примешивалось сладостно-грустное, до сих пор незнакомое ощущение разлуки. Он избегал смотреть в глаза Мары, старшей сестры, заменившей ему мать, и, отталкивая узелки с гостинцами, деловито укладывал в сумку школьные книжки — это было самое важное и необходимое. К тому же нужно быть твердым, серьезным, чтобы не показаться смешным или неспособным выполнить то важное, что ожидали от него.

Но как ни крепился Кирилка, как ни старался предотвратить опасные моменты, без огорчения все-таки не обошлось.

На беду забежала с каким-то выдуманным задельем Феонка, и как раз в ту минуту, когда Кирилку, поверх щегольской шубки, кутали на дорогу в длиннополый, неуклюжий отцовский тулуп. Она обидно прыснула в ладонь и, щелкая на белых зубах жваком, пристыдила Кирилку:

— Ну и суслон! Чисто ты суслон теперь, Кирилко! А ишшо учитель... Ха!

Кирилка, швырнув носом, строго стрельнул в Феонку косым взглядом за-

тененных воротником глаз, блеснувших темною синью.

Кирилка стал взрослым — он уезжал учительствовать...

* * *

Уже прошли азбуку, и восьмилетний Степка, двоюродный брат своего учителя, звонко выкрикивал склады.

Кирилка стал важным человеком в доме дяди: с ним разговаривали, как со взрослым, о серьезном, о хозяйственном, о приближающихся святках.

Все было ново для Кирилки — и его важное положение, и Белозерье, большая лесная деревня, полукругом облегающая огромное озеро, сверкающее под солнцем снеговыми суметами, и самые люди, не похожие на Кирилкиных родичей. Как будто он никогда не был маленьким и они всегда знали его таким — взрослым, учителем... И соседские девчонки не скалили на него зубы, как Феонка, а сами, застенчивые, несмелые, точно стыдились его.

Кирилке самому стало казаться странным его несмелое поведение с Феонкой, такой незначительной, ничего не понимающей в жизни взрослых, ветреной и даже глуповатой на теперешний взгляд. Кирилка был уверен, что срежет ее теперь одним словом, одной своей осанкой взрослого. Это так просто и легко, и даже обидно становится, что он раньше почему-то не догадался об этом.

По вечерам все чаще говорили о святках, об игрищах, шиликунах, и тетка уже готовила творог для сырчиков к рождеству.

Дядя Егор, довольный учебой Степки, говорил:

— Пора и отдохнуть. Грамота — она что камень гладить — достается тоже... Погуляете вот ужо на святках. Гляди, и высмотришь на игрище-то себе невесту. Все равно не отпустим тебя так из Белозерья...

Кирилка снисходительно, в тон дяде, улыбался слегка и, отгоняя несерезное, допустимое лишь в шутку, озабоченно откидывал спускавшуюся на лоб золотисто-льняную прядь, отбирал у Степки грифель и старательно исправлял ошибки ученика.

— Хлеб, хлев... эти слова всегда пишутся через ять, а ты что написал?

Опять забыл?! Надо внимательно. Вот так...

Скрипел, взвизгивая, грифель, а над черной дощечкой близко склонялись две пытливые детские головки, вихрастые, облитые светом висячей лампы с жестяным кругом. Шуршали в щелях тараканы, любопытно высовывая вздрагивающие усики. Мягко шелестели измятые страницы учебника. Звенел детский, по складам читающий голосок. Порой глухо-отрывисто ударял в угол горницы кляящий мороз, рвавший под тонким, обтоптаным снегом землю.

Тихо, усыпляюще журчало веретено тетки. Всплывали слова дяди; вскользь оброненные, о высматривании невест, и Кирилке, меж Степкиными каракулями, расплывчато колеблясь, уже мерещился нежно-белый овал Аньюткиного лица, как льяными семечками, усеянного мелкими веснушками. А порой, когда Кирилка надолго раздумывался об Аньютке, голос Степки звенел Аньюткиным застенчивым смехом, и он сам улыбался ответно.

Аньютка часто забегала к дяде Егору и, стоя у притолоки, украдкой ёссила в сторону «учителя» широко расставленные, с удлиненным разрезом глаза, поблескивавшие такой же лучистой просьбиною, как у самого Кирилки. Кирилка ловил этот взгляд, и сердце, переполненное гордостью, начинало быстрее стучать и отчего-то сладостно-больно сжиматься.

Высокая не по летам, но тоненькая, с худенькими покатыми плечами, Аньютка казалась Кирилке краше всех на свете, и самая худоба ее, ее застенчивость и робость как будто просили приголубить ее сильной рукой, защитить от чёго-то...

Одно только злило и глубоко оскорбляло Кирилку — это прозвище Аньюткиного отца — Галаня...

— Галанина Аньютка! Эх, ты, Галания! — обидно скаля зубы, дразнили ее ребятишки.

Кирилка не понимал этого слова, но оно до обидной жалости роняло Аньютку, как будто пачкало чем-то ее чистое лицико, и чувство возмущения выдавливало слезы на синих Кирилкиных глазах.

Засыпая с этими тихими, скрытыми от всех слезами, Кирилка твердо решил, когда станет совсем большим, жестоко отомстить зубоскалам и увезти Аньютку, когда они будут женихом и невестой, далеко-далеко от Белозерья, чтобы обидное прозвище отстало, забылось навсегда.

* * *

Чинно, в разговении прошел первый рождественский день, неожиданно показвшийся длинным и скучным. Все получалось как-то не так, как ожидалось...

Но на другой день просторная, устланная новыми половиками горница дяди Егора уже с утра наполнилась звонким гамом детских голосов, и в ней стало празднично светло, не по-вчерашнему, когда под темной божницей долго струился кадильный дым, семья перед разговением долго молилась и в чуткой, по благочестивому настороженной тишине нельзя было смеяться. Сегодня и солнце как будто ярче золотило морозное кружево на окнах, ласково искристо усмехаясь, и самый воздух напоен был чем-то пьянящим.

Сегодня в горнице дяди Егора собиралось малое игрище, созданное в честь Кирилки, почетного гостя...

Звучно расщелкивая орехи и грызя мерзлые сырчики, подростки степенно рассаживались по широким, свежевыскобленным сосновым лавкам, хрустели новым ситцем рубашек и ждали «начала», которое должна была положить хозяйка игрища, Степанкова сестра Катя. Она должна была выбрать подругу и, взявшись с ней за руки, ходить по горнице и петь про «удала добра молодца», пленившего девичье сердце. Песня заканчивалась припевом о поцелуе «во сахарные уста», и пары, установившись у притолоки, должны были исполнять это вение.

Катя положила начало, и в горнице зазвенело переливчато:

Уж я золотце хороню, хороню!
Чисто серебро в терему, в терему.

И когда пары, быстро переступая, как бы стараясь перегнать темп песни, уже мелькали взад и вперед, Анютка застенчиво проскользнула в дверь и замешалась в цветнике праздничных сарафанов.

У Кирилки остановилось сердце: он еще никогда не представлял ее себе такой красивой, будто овеянной чем-то недоступным, слишком ярким. На узенькой груди ее, спускаясь с прозрачно-белой шейки на вышитую рубашку, искристыми блестками сверкал двойной ряд бисера, и Кирилке становилось завидно, что би-

сер этот так близко, бережно-любовно прникает к Анютке. И в ту же минуту он боязливо подумал еще: ведь этот слепящий блеск, который исходит от Анютки, вдруг заметят и другие, и тогда, может быть, синие глаза ее уже не станут косить только в его, Кирилкину, сторону...

Анютку вывели «по горнице ходить», и была ее очередь выбирать «удала добра молодца». Кирилка замер и уже не деланно-рассеянно, а незаметно для себя откидывал с вспотевшего лба золотисто-льняную вихрастую прядь.

И когда Анютка подошла к нему и, не глядя, протянула руку, Кирилка вдруг постыдно оробел и, краснея до острого жжения в верхушках ушей, растерянно перебирал кисти голубого праздничного пояса.

Но не менее Кирилки оробела и Анютка, пристыженная долгим стояньем перед удалым добрым молодцем, она теребила нитку бисера, и когда Кирилка, злясь на себя, порывисто схватил ее руку и неловко повернул к двери, где надо было целоваться, — бисер дробно рассыпался по половикам и произошло что-то до того стыдное, что в Кирилкиных глазах помутнело и кругом пошла горница.

Зазвенел смех, и послышалось до боли обидное:

— Ах, ты-ты! Галаня-а-а! И тут просыпалась...

— Галаня, Галаня... Галаненок рябой! — галдели сзади ребятишки.

Но Кирилка видел только бледное, ставшее несчастным лицо Анютки и беспомощно полураскрытые губки, алевшие расплывчатым колеблющимся пятном. Он обвил тонкую Анюткину шею и, притиснув русую головку к притолоке, прижался своими пересохшими губами к мягко подавшемуся алому рту и давил до тех пор, пока не почувствовал освежающий холодок чистых Анюткиных зубов.

И когда оторвался, почувствовал себя уже совсем взрослым, не боящимся никаких насмешек, что давеча конфузили его чуть не до слез, почувствовал, что Анютке тоже нечего теперь конфузиться и робеть и она вовсе не такая уж жалкая, чтобы теряться только оттого, что у нее рассыпался бисер.

У Кирилки словно росли за плечами крылья, и, краснея уже до новых бодрящих чувств, он молодецки пристукнул

подковкой щегольского сапога со скрипом, повернувшись от притолоки.

Игрище разгоралось, и досадный случай с Аньоткиным бисером скоро забылся. Кирилка уже не чувствовал неловкости и свободно ходил по горнице, крепко, по-молодецки сжимая Аньоткину ручонку.

Он уже видел себя женихом Аньотки, и в святочных песнях слышал торжественные церковные напевы венчальные...

Аньотка покорно-доверчиво приникала к Кирилке, когда он, следуя велению песни, становил ее у притолоки, чтобы выполнить поцелуйный обряд. Углом глаза он видел, как темнеют, поблескивая синью, Аньоткины широко расставленные глаза; и твердо был уверен, что Аньотка теперь ни на кого уже не променяет его, ни на кого уже не взглянет таким лучисто-синим взглядом, за который можно отдать полжизни.

Но вечером, когда в горницу уже вливался ранний зимний сумрак, Кирилка все же спросил тихонько Аньотку, заранее зная ее ответ:

— Люб я тебе или нет? Аньота?

— Ши-ибко, Кирюша! — шепнула Аньотка и облила его искрящимся взглядом, луристо блеснувшим уже не по-детски.

И с каждым часом рос Кирилка, и казалось ему, не было на свете человека счастливее его.

* * *

Хмельными днями, как во сне, промелькнули святки, и как-то совсем неожиданно наступили послекрещенские будни.

Снова заскрипел грифель, зашелестели страницы учебников. Но уже в тягость была книжная учеба. Солнечные блики на гладкой клеенке стола больно резали глаз, и в жарко натопленной горнице, пахнущей мятой, зевалось истомно; разливалась по телу предвесенняя лень, и книжка становилась все более чуждой.

И так же неожиданно, как неожиданно наступили серые будни, кончилось Кирюшкино счастье.

Возвращаясь из города, Кирюшкин отец заехал в Белозерье и просто сказал:

— Погостил, да и будет! Пора и честь знать. От дома-то отбиваться тоже не след. Да и писарь вон наш наведывался: почерк, говорит, у твоего сына-то хорош, не отдашь ли привыкать в волость, пока что. В писари, значит.

Ясны и понятны были отцовские слова, но Кирюшка долго не мог определить — что в них такого страшного и отчего эти простые слова жгучей тоской сжали вдруг заколотившееся сердце?..

Но Кирюшка был большой, и пуще всего боялся потерять мужество и показать это постороннему взгляду.

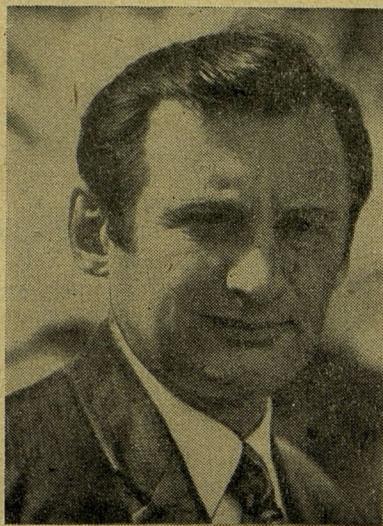
И, сердито сопя, он деланно-заботливо укладывал свои книжки, ставшие почти ненавистными.

В полдень, когда яркое солнце алмазными искрами сверкало на блестящем белом снегу, Кирюшка уехал из Белозерья, окруженного застывшими под тяжелым слоем куржака лесами.

Впереди стлалась однообразная, казавшаяся бескрайною, снежная равнина, задернутая на горизонте белесой морозной мглой...

«Первое горе» печатается по автографу, вероятно 1919—1920 гг.; «Кирилкина беда» — по тексту, опубликованному в газете «Жизнь Алтая», 1916, 10/IV, с правкой автора; «Кирилкина любовь» — по тексту в газете культурно-просветительного союза Алтайского края за 1919 г. (название газеты пока установить не удалось).

— САТИРА И ЮМОР —



Осипов Геннадий Ильич родился в 1929 году в городе Бийске. Окончил Уральский государственный университет.

Профессиональный журналист. В газетах начал печататься с 1949 года. Сейчас работает ответственным секретарем «Алтайской правды». В альманахе «Алтай» выступал с очерком.

Геннадий ОСИПОВ

КАК Я СТАЛ ЧЕМПИОНОМ

Утреннее небо голубое. Облака... Впрочем, ни облака, ни тучки. Но известно, что гром не обязательно из тучи... В это утро, громыхая пустыми ведрами и попреками мужу-лежебоке, жена нарушила мой сладкий сон:

— Марш за водой!

— А у нас для этой самой шту-у-ки есть наш городской водопровод, — еще благодушествуя, промурлыкал я и потянулся к телефону.

— Алло. Трест «Водосвет»? У нас на четвертом этаже воды нет, — почти в рифму заявил я.

— Ждите, будет, — ответили мне.

Потом мы перезванивались еще несколько раз. Трубка сыпала бодрыми заверениями, а жена — всякими нелестными эпитетами в ее адрес и язвила, что пора впредь именовать трест «Водосвет» трестом «Водынет». Короче говоря, мне пришлось спускаться с четвертого на первый этаж.

Вы никогда не пробовали совершать кросс по пересеченной местности с двумя полными ведрами? И если еще местность пересечена в вертикальном направлении под углом примерно в 45 градусов? Поверьте, ощущаешь некое порядочное неудобство, будто гонишь на высокогорное пастбище упрямого бегемота

С первой парой ведер я ввалился в квартиру, отдуваясь, как маневровый паровоз, который по ошибке поставили тянуть тяжеловесный состав. Вторую я не донес. Жена безжалостно обозвала меня недоноском.

На второй день я поступил умнее. С вечера открыл все краны и почти не спал, прислушиваясь: не зазвенит ли спасительная струя. Дабы сон не завладел мною, стал припоминать из физики все, касающееся моего вчерашнего трудового подвига. Сначала подыскал ему соответствующую терминологию. Естественно, что это была работа, то есть одна из важнейших физических величин, количественно характеризующая преобразование какой-либо одной формы энергии (очевидно — моей мускульной) в другую. Какую только? Иметь ли в виду энергичные нападки моей жены? Или что-нибудь иное? Так и не разрешив этот вопрос, приступил к вычислениям, во что вылилась моя работа. Формулу забыл. Пришлось разбудить жену.

Помянув все мою золотую медаль за среднюю школу, жена зло буркнула, что работа моя вылила в детскую ванночку. Отдав должное ее остроумию, я все-таки в интересах дела затребовал формулу, был адресован к черту и лишь по проявлении

настойчивости — к Большой Советской Энциклопедии.

И верно. 35-й том раскрыл передо мной полную картину. Я заново узнал, что работа силы (а сила — это я!), действующей на материальную точку (стало быть, на ведра), измеряется произведением проекции силы на пройденный путь. Набиралось порядочное количество килограммометров. Нет, не такой уж я недоносок.

И когда, бесплодно переговорив на сей раз уже с директором «Водосвета» тов. Лаповым, я снова устремился на первый этаж, то был переполнен уверенностью в своих силах, как кружка пива пеной. Но пена оседает... Со второй парой ведер пришлось осесть и мне — прямо на грязную ступеньку, расплескав воду. Жена потребовала долива...

Через неделю мы с тов. Лаповым переговаривались словно старые знакомые. Доброй души человек, он без всякого материального вознаграждения провел со мной полный курс техминимума по водопроводному делу. Я уже знал, что сегодня забастовали глубоководные вертикальные центробежные и штанговые насосы. Тут были бы хороши газлифты, но... На следующий день были непорядки в магистральной линии, а также в разводящей сети. Затем подвели стояки (стояки бывают... впрочем, нет, так не пойдет, не желаю разбазаривать знания). Курс техминимума значительно облегчил мою участь. Таская воду, я теперь ясно представлял себе, какие могучие и умные машины заменяю собой.

...Восьмое марта мы праздновали у себя. Я просил гостей нажимать на сухое вино, а не на чай. Они понимающие кивали.

Утром, конечно, проспал. А до начала рабочего дня оставалось сорок минут. Стремительно скатившись вниз, я подхватил ведра и бегом ринулся домой. Уже спускаясь обратно, вдруг ощутил, что, несмотря на вчерашние возлияния и прыжки через ступеньки, даже не сбил дыхания. Воистину во всем важна закалка, тренировка.

Своей радостью я поделился с тов. Лаповым. Бескорыстный человек, он порадовался вместе со мной:

— Что я вам говорил? Благодарить будете!

Я благодарил.

Жена успела рассказать о моих успехах на работе. Вечером меня поймал Саша Долгов, наш общественный тренер-штангист, и решительно увлек в спортзал. Там уже лежала наготове штанга.

— А ну-ка, подыми!

Собравшиеся в зале уставились на меня с таким интересом, словно я был родственником центрального нападающего команды класса «А». Штангу я поднял.

— Силен, брат, силен, но техники — никакой. Ничего, отшлифуем, — резюмировал Саша и начал меня тренировать. Тов. Лапов всемерно помогал ему. В виде домашнего задания я ежедневно бегом приносил воду на целую ванну.

И вот, наконец, подошли областные соревнования с участием сильнейших тяжелоатлетов соседних республик.

Публика уже начинала расходиться, словно была на премьере нашего областного театра, когда меня вызывали на помост. Судья равнодушно сообщил:

— Георгий Иванов. «Спартак». Полусредний вес. Вне конкурса.

Я страшно волновался и в первом движении — рывке — показал действительно полусредний результат. Судьи откровенно зевали. Я готовился к следующему движению — толчку. И вдруг из полупустого зала донесся отчаянный вопль:

— Гоша, не осрами контору «Водосвет»!

Милый Лапов, как он меня поддержал в эту минуту. Штанга взлетела вверх. В полуоткрытом левом глазу главного судьи мелькнуло любопытство. Зал загудел. А на штанге было уже 200 килограммов.

— Вес взят! — от удивления как-то поптичики пискнули судья, а ко мне, сметая барьеры и условности, неслись зрители. Первым был Саша.

— Ты же рекордсмен страны! Дорогой! — от избытка чувств он захлебнулся.

На меня насыли корреспонденты, просили раскрыть секреты тренировки.

— Вот он, мой первый тренер, — указал я на товарища Лапова.

Наутро все газеты вышли с моими портретами 9 на 12 и интервью, в котором упоминалась и фамилия Лапова. На следующий день пришло известие об официальном утверждении моего рекорда. Решил сразу поделиться этим с Лаповым.

— А его нет, — ответила секретарша. — Горисполком вчера снял его с работы. Сказали, что о воде надо заботиться, а не о спорте.

— Безобразие, — возмутился я. Но из кухни позвала жена:

— Милый, поспеши за водой.

Я привычно подхватил свои спортивные снаряды...



Репродукция картины Н. Периха «Ойрот. Алтай».

На обложке: линогравюра Б. Лупачева «Вход на ВДНХ».



Н. Рерих. «Этюд».

40 коп.